ИСТОРИЯ ОМАРА ХАЙЯМА, рассказанная им самим

Лео Яковлев

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Автор этой книги – великий поэт и ученый исламского Средневековья Абу-л Фатх Омар ибн Ибрахим ал-Хайям. В его зрелые годы это непростое имя стало начинаться «лакабом» – почетным знаком отличия человека, имеющего особые заслуги перед верой в единого Господа,- «Гийяс ад-Дин», а заканчиваться – указанием места его рождения («нисбой») «ан-Найсабури», а уже после его путешествия в Мекку к святым местам ислама перед его именем появилось уважительное слово «хаджи». Хаджи Гийас ад-Дин Абу-л Фатх Омар ибн Ибрахим ал-Хайями ан-Найсабури – так обращались к нему в ученых собраниях в государстве Великих Сельджуков в первые десятилетия X века и до его кончины. В переводе его полное имя звучит следующим образом: «Совершивший паломничество в Мекку («хадж») Помощь Веры Абу-л Фатх Омар, сын Ибрахима Палаточного Мастера из Нишапура». Со временем живая мудрость этого человека стала забываться, и его ожидала обычная посмертная судьба многих замечательных ученых: упоминание в несколько строк в истории математики, астрономии и философии, величайшим знатоком которых он при жизни считался. Но оставались еще стихи, и именно они, более чем через восемь столетий после ухода автора, обеспечили ему триумфальное возвращение в мир живых людей, теперь уже – навсегда, под кратким запоминающимся именем «Омар Хайям». Полной и точной биографии Омара Хайяма не существует. Даже дни его рождения и смерти – соответственно 18 мая 1048 г. и 4 декабря 1131 г. – определены с большой степенью вероятности. Только три человека из числа лично его знавших оставили о нем краткие сообщения. Другие же сведения о Хайяме, встречающиеся у более поздних средневековых историков и писателей, основаны на устных преданиях и нередко находятся в противоречии друг с другом и с хронологией реальных исторических событий. В связи с этим представляется целесообразным отказаться от традиционной для такого рода предисловий попытки воссоздания краткой биографии автора книги. Наиболее полно и последовательно его биография раскрывается во включенных в эту книгу «Хронологической канве» его жизни и творчества и беллетризованном жизнеописании «Повесть о жизни Омара Хайяма, рассказанная им самим», в которой делается попытка объяснить и увязать практически все без исключения имеющиеся сегодня свидетельства о нем, какими бы недостоверными они на первый взгляд ни казались.

- Лео Яковлев
  - Предисловие
  - Лео Яковлев
  - Лео Яковлев
  - Нишапур2
  - Самарканд
  - Бухара
  - Исфахан при Низаме ал-Мулке
  - Исфахан без Низама ал-Мулка
  - Возвращение в Нишапур
  - Дом и Путь
  - Между Нишапуром и Мервом
  - Перед вратами вечного молчания
  - Послесловие
  - * * *
  - * * *

Лео Яковлев

ИСТОРИЯ ОМАРА ХАЙЯМА, рассказанная им самим

Предисловие

Автор этой книги – великий поэт и ученый исламского Средневековья Абу-л Фатх Омар ибн Ибрахим ал-Хайям. В его зрелые годы это непростое имя стало начинаться «лакабом» – почетным знаком отличия человека, имеющего особые заслуги перед верой в единого Господа,- «Гийяс ад-Дин», а заканчиваться – указанием места его рождения («нисбой») «ан-Найсабури», а уже после его путешествия в Мекку к святым местам ислама перед его именем появилось уважительное слово «хаджи».

Хаджи Гийас ад-Дин Абу-л Фатх Омар ибн Ибрахим ал-Хайями ан-Найсабури – так обращались к нему в ученых собраниях в государстве Великих Сельджуков в первые десятилетия X века и до его кончины. В переводе его полное имя звучит следующим образом: «Совершивший паломничество в Мекку («хадж») Помощь Веры Абу-л Фатх Омар, сын Ибрахима Палаточного Мастера из Нишапура». Со временем живая мудрость этого человека стала забываться, и его ожидала обычная посмертная судьба многих замечательных ученых: упоминание в несколько строк в истории математики, астрономии и философии, величайшим знатоком которых он при жизни считался. Но оставались еще стихи, и именно они, более чем через восемь столетий после ухода автора, обеспечили ему триумфальное возвращение в мир живых людей, теперь уже – навсегда, под кратким запоминающимся именем «Омар Хайям».

Полной и точной биографии Омара Хайяма не существует. Даже дни его рождения и смерти – соответственно 18 мая 1048 г. и 4 декабря 1131 г. – определены с большой степенью вероятности. Только три человека из числа лично его знавших оставили о нем краткие сообщения. Другие же сведения о Хайяме, встречающиеся у более поздних средневековых историков и писателей, основаны на устных преданиях и нередко находятся в противоречии друг с другом и с хронологией реальных исторических событий.

В связи с этим представляется целесообразным отказаться от традиционной для такого рода предисловий попытки воссоздания краткой биографии автора книги. Наиболее полно и последовательно его биография раскрывается во включенных в эту книгу «Хронологической канве» его жизни и творчества и беллетризованном жизнеописании «Повесть о жизни Омара Хайяма, рассказанная им самим», в которой делается попытка объяснить и увязать практически все без исключения имеющиеся сегодня свидетельства о нем, какими бы недостоверными они на

первый взгляд ни казались.

Описанный выше биографический раздел завершает книгу произведений Омара Хайяма; открывают же ее рубаи в поэтическом переводе Ирины Евсы, выполненные на основе текста подстрочного перевода «Рубаййата Омара Хайяма» Р. М. Алиева и М.-Н. Османова. (Труд Р. М. Алиева и М.-Н. Османова был и остается единственным и уникальным по своей полноте и общедоступности подстрочным переводом Кембриджской рукописи, которая первоначально относилась к 1207 г. и считалась наиболее ранним среди известных науке списков «Рубайята». Несмотря на то что в дальнейшем иранские ученые доказали поддельность этой датировки, состав включенных в нее четверостиший и их атрибуция сомнению не подвергались.) Четверостишия Омара Хайяма в переводе Ирины Евсы сопровождаются необходимыми комментариями, кораническими параллелями и вариантами поэтических переводов других авторов. Наличие вариантов переводов рубаи помогает лучше понять мысль персидского поэта.

В нашем толковании Хайям предстает перед читателем как великий суфийский поэт и один из ранних представителей исламского религиозно-мистического направления в иранской поэзии, каким он и был в действительности. Дерзкие обращения к Богу и споры с Ним, порицание показной «святости» аскетов и исламского духовенства, пренебрежительное отношение к храмам, воспевание женской красоты и запретного для мусульман вина, содержащиеся в его стихах при прямом истолковании их смысла, открывали возможность превращения Хайяма в атеиста, стихийного материалиста и чуть ли не в революционера, чем и пользовались его комментаторы в период существования в России идеологического единообразия. Устойчивость этого искаженного образа Хайяма в значительной мере объяснялась полным отсутствием у подавляющего большинства читателей каких-либо представлений о суфизме и истории суфийского движения в мусульманском мире.

Собственно говоря, приход Хайяма в ряды суфиев был закономерен и почти неизбежен, так как первой его книгой был выученный им наизусть Коран, а вырос он в Нишапуре – одном из главных центров восточноиранского суфизма, когда в нем еще была жива память о великом суфийском Учителе Абу Саиде Майхани и еще звучали приписываемые этому шейху четверостишия, иногда не менее дерзкие, чем те, что впоследствии создал Хайям. Да и само его прозвище «Хайям», объясняемое, по установившейся традиции, предположением о том, что оно связано с шитьем палаток, которым будто бы

занимался его отец, могло быть принято в юности самим Омаром в память об одном из первых знаменитых суфиев («Ал-суфи») – Джабире ибн Хайяме, умершем в 867 г. в Куфе.

Но главным доказательством принадлежности Хайяма к мистическому пути являются его религиозное свободомыслие и его собственные проникновенные слова о суфиях и суфийском методе познания, содержащиеся в его духовном завещании – трактате «О всеобщности существования». При этом не следует представлять себе Хайяма участником коллективных суфийских молений («Зикр») или дервишских плясок, поскольку суфизм многолик и многообразен, и уже старший современник поэта и ученого Абу-л Хасан ал-Худжири писал о тайных суфиях-интеллектуалах, следующих по мистическому Пути в одиночестве и без огласки. Дальнейшая и современная история интеллектуального суфизма подтвердила правоту одного из первых его теоретиков, и звучащие время от времени заявления о том, что суфизм присутствует только там, где соблюдается внешняя мистическая обрядность, не имеют ничего общего с действительностью.

Хайям был тайным суфием, во всяком случае, до того момента, когда великий теолог ал-Газали публично обосновал соответствие суфизма религиозным традициям Ислама, и его четверостишия были созданы до того, как в суфийской поэзии утвердилась мистическая символика, так что отчасти Омара Хайяма можно считать ее создателем, что отмечено Джамал ад-Дином ибн ал-Кифти, и поэтому один и тот же суфийский символ – «Чаша», «Вино», «Лоза», «Саки», «Возлюбленная» и др. – в его поэзии может иметь различные значения и толкования, что и нашло отражение в комментариях к рубаи. Позднейшие великие суфийские поэты, такие, как например, автор «Винной касыды» Омар ибн-ал-Фарид (XII-XIII вв.) и Шамс ад-Дин Мухаммад Хафиз (XIV в.), написавший «Поэму о виночерпии» («Саки-Наме»), использовали уже устоявшиеся суфийские поэтические образы.

Путь Омара Хайяма в Россию начался более ста лет тому назад с небольшой подборки вольных переводов его стихотворений, выполненных Василием Величко и опубликованных в 1891 году в журнале «Вестник Европы». Этот интерес явился следствием взрыва всеобщего внимания к четверостишиям иранского поэта, охватившего весь мир после появления поэмы «Рубайят Омара Хайяма», опубликованной в 1859 году в Англии востоковедом-любителем и литератором Эдвардом Фитцджеральдом (1809-1883). В переводах тех лет не всегда ставилась цель адекватного воссоздания стихотворной формы первоисточника: главной целью первых переводчиков

была по возможности точная передача мысли оригинала, и нередко они не укладывались в четверостишия, и это лишний раз убеждает нас в том, что его путь к сердцу русского читателя был весьма непрост.

В России к поэтическому наследию великого иранца обращались и мастера перевода, и мэтры отечественной поэзии. Более сорока имен тех, кто приближал слово и мысль Хайяма к русскому читателю, присутствуют под обложкой книги «Омар Хайям. Рубаи», вышедшей в Большой серии «Библиотеки поэта» в 1986 году и являющейся своего рода итогом переводческой работы с четверостишиями поэта в конце XIX и XX веках. В основном из этих же переводов формировались многочисленные издания стихотворений Хайяма, появившиеся в последние годы. Не вдаваясь в детальную оценку их художественных достоинств (а среди этих текстов, бесспорно, есть и переводческие шедевры), все-таки мы вынуждены признать: большинство переводов, включенных в издание 1986 года, и переводческий опыт XX века в целом так и не дали нам подлинного Омара Хайяма; его поэтический автопортрет был вольно или невольно искажен.

Практически все переводы, находящиеся в издательском обороте по сей день, выполнены в советский период, а, как известно, господствовавшая в стране идеология допускала к «советским людям» только «прогрессивных» деятелей прошлого – «борцов за светлое будущее человечества»; а те, кого никак нельзя было подогнать под этот ярлык, оказывались в числе «реакционеров», «мракобесов», недостойных памяти и внимания, или просто отгораживались от читателей стеной молчания, за которой, например, оказались великие поэты-мистики Ирана – младший современник Хайяма Абу-л Маджд Санайи и Фарид ад-Дин Аттар.

Однако популярность Хайяма уже в начале XX века была настолько велика, что игнорировать его всемирную славу и стремление к нему человеческих сердец не было никакой возможности. И те, кто любил Хайяма и ощущал свое духовное родство с ним, пошли на хитрость, создав его мнимый «идеологически выдержанный» облик: один из немногих в истории человечества абсолютно свободных людей, высокий интеллектуал, мистик и индивидуалист был превращен в воинствующего атеиста и раба некоей «прогрессивной идеи», чуть ли не в «пламенного революционера». Это была ложь во спасение, благодаря которой Омар Хайям стал доступен «советскому читателю».

В то же время стремление искусственно «опрогрессивить» Хайяма не могло не отразиться и на содержании переводов, в

которых смелые и искренние мистические обращения к Богу, суфийские поиски Пути к Истине, Гармонии, Красоте и Любви нередко превращались в богоборческие или откровенно эпикурейские1 декларации, а скрытый мистический и философский смысл его стихотворений полностью игнорировался.

Рассмотрим, например, четверостишие Хайяма «Гам куштаи чоми якмани хохам кард…» Вот наиболее близкий по смыслу к оригиналу прозаический перевод Р. М. Алиева и М.-Н. Османова:

Печаль убью я чашей в один ман.
Себя же обогащу двумя ритлями вина.
Сначала я дам трехкратный развод Разуму и Вере,
А затем женюсь на дочери Лозы.

Здесь отразились философские искания Хайяма, его раздумья о путях к Истине. Он убедился, что такие привычные для него инструменты познания, как Разум и Вера, оказались недостаточно эффективными. Хайям опечален этим, но Вдохновение (вино) не покинуло его, и он решает обратиться к Интуиции (дочери вьющейся Лозы)2. Именно в этой иерархии средств постижения Истины – «Разум, Вера, Интуиция» – содержится ключ к пониманию скрытого смысла слов Хайяма, ускользнувшего от его переводчиков.

В самом известном переводе (И. Тхоржевского) это стихотворение звучит так:

Сегодня – оргия. С моей женой,
Бесплодной дочкой мудрости пустой,
Я развожусь! Друзья, и я в восторге,
И я женюсь на дочке лоз простой.

Отходя от подстрочника, И. Тхоржевский заменил «Разум» неадекватным ему понятием «мудрость пустая» и исключил слово «Вера».

Несколько точнее выглядит редакция Г. Плисецкого:

Нынче жажды моей не измерят весы.
В чан с вином окуну я сегодня усы.
Разведусь я с ученостью книжной и Верой!
В жены выберу дочь виноградной лозы.

Но и в этом переводе печаль разочарования подменена жаждой винопития, а Разум – «книжной ученостью».

Все эти переводы сохраняют лишь поверхностный смысл четверостишия – желание ученого, уставшего от своих трудов, говоря современным языком, как следует «расслабиться» выпивкой с друзьями,- и вполне могут украшать стены питейных заведений для умеренных интеллектуалов. А в переводе В. Державина вместо сомнений одинокого искателя Истины и вовсе возникает образ веселой компанейской пирушки:

Мы чашей весом в ман печаль сердец убьем.
Обогатим себя кувшинами с вином.
Трикратно дав развод сознанью, знанью, вере,
На дочери лозы мы женимся потом.

Справедливости ради заметим, что таким же в значительной мере является и перевод Э. Фитцджеральда, «поэта мысли» (так называли его современники), в данном случае ограничившегося одномерной интерпретацией хайямовского шедевра. Этот перевод, а точнее – переложение,- безусловно, находится в числе текстов, под влиянием которых создавался интеллектуально сниженный образ «поэта вина и плотских утех»:

You know, My Friends, how long since in my House
For a new Marriage. I did make Carouse:
Divorced old barren Reason from my Bed
And took the Daughter of the Vine to Spouse.

Дословный перевод:

Вы знаете, друзья мои, как давно я устроил в своем доме
Пирушку по поводу новой свадьбы. Я прогнал
С моего ложа бесплодную старуху Рассудок
И взял в жены дочь виноградной лозы.

Сравним с переводом этого фрагмента поэмы Э. Фитцджеральда, выполненным О. Румером:

Немало лет прошло с тех пор, друзья,
Как новым браком сочетался я:
Бесплодный ум от ложа я прогнал,
И дочь Лозы – теперь жена моя.

И лишь новый перевод хайямовского четверостишия (как может убедиться читатель, сопоставив его с приведенным выше подстрочником,- наиболее точного) сохраняет все ключевые слова

оригинала, открывающие путь к скрытому смыслу этого стихотворения:

Я чашей в один ман убью печаль слезы,
Двумя – обогащу веселия азы.
Трехкратный дам развод и Разуму и Вере,
А, разведясь, женюсь на дочери Лозы.

Хотелось бы также обратить внимание читателей на исламскую эрудицию Хайяма, отразившуюся в этом четверостишии. «Сначала я дам трехкратный развод»,- говорит Хайям, и в этих словах содержится одно из важнейших положений шариата, касающихся гражданского состояния мусульманина. Отзвук Корана, шариата и сунны слышен во многих четверостишиях Хайяма. Так, сами образы глины и гончара, многократно отражающие у Хайяма круговорот рождений и смертей человеческих, взяты из 55-й суры Корана («Милосердный»): «Он сотворил человека из звучащей глины, как гончарная». К Корану восходят и упоминаемый Хайямом отказ падшего ангела Иблиса поклониться сотворенному Богом человеку (Коран, сура 7, «Преграды»), и «сладкая пища» Марьям (Коран, сура 19, «Марьям») и т. д. и т. п. Все эти особенности лирики Хайяма долгое время находились за плотной идеологической завесой. Новый же перевод четверостиший Хайяма без оглядки на цензуру был до 1991 года просто невозможен.

Примечательная особенность русских стихотворных переводов из Хайяма – почти все они выполнены мужчинами, за весьма редкими исключениями, которыми современные составители его поэтических сборников обычно пренебрегают.

Между тем поэзия Омара Хайяма имеет общечеловеческое значение и не может рассматриваться как сугубо мужская лирика. В отличие от всех иранских и арабских поэтов и, в том числе, гениального ширазца Хафиза, он в своих стихах, как правило, не призывает возлюбленную, не клянется ей в вечной любви и не рыдает взахлеб, будучи ею покинут. Хайям вместе с «кумиром» – с милой, с любимой – рука об руку пытается заглянуть за пределы бытия, единые для всех людей Земли. Поэтому переводы его четверостиший, выполненные женщинами, в которых Природой изначально заложена великая стратегия жизни, могут достигать высочайших степеней проникновения в духовную Вселенную Хайяма.

Здесь мы подошли к весьма важному для понимания структуры этой книги принципиальному вопросу. До настоящего

времени большинство изданий «Рубайята» Омара Хайяма представляли собой «капустники», составленные из работ нескольких переводчиков. Между тем, если вспомнить обстоятельства триумфального «возвращения» в мир людей поэзии Хайяма, то не составляет большого труда убедиться в том, что этот феномен основывается на удивительном духовном резонансе личностей полузабытого хорасанского шейха из XII века и образованного и литературно одаренного английского дворянина из XIX векка. И можно с уверенностью сказать, что, если бы поэма «Рубайят Омара Хайяма» не была перекличкой двух родственных душ через века и страны, а представляла собой собрание высококачественных переводов отдельных четверостиший, принадлежавших перу лучших английских поэтов того времени, вряд ли такое предприятие завершилось бы мировой славой, выпавшей на долю Эдварда Фитцджеральда.

У каждого переводчика хайямовских четверостиший в зеркале переведенных им текстов обязательно отражается одной из своих граней душа Хайяма и его личность, и совокупность таких отражений приближает нас к постижению тайны этого загадочного гения. Поэтому при подготовке настоящего издания был отвергнут ранее широко использовавшийся «принцип представительства» в сборниках большого числа различных переводчиков, с размещением отобранных четверостиший вперемешку, нарушавший цельность образа переводимого поэта, а за основу были приняты поэтические переводы Ирины Евсы.

Кроме указанного автора, в качестве комментария в эту книгу были включены переводы хайямовского рубайята, выполненные Л. Некорой и О. Румером в тридцатых-сороковых годах минувшего века, переводы Г. Плисецкого, в которых отразились более поздние попытки обретения путей к постижению содержания и подтекста хайямовских четверостиший, И. Тхоржевского и многих других поэтов.

Ирина Евса не новичок в искусстве стихотворного перевода, ее прежние работы уже хорошо известны русскоязычному читателю. Первая публикация ее переводов Омара Хайяма состоялась в 2003 году и была благожелательно встречена почитателями творчества великого иранца в славянском мире. И. Евса пришла к Хайяму после библейской Песни песней и новых переводов Сафо, орфических гимнов и многих других памятников древней поэзии3.

Не будем предвосхищать и навязывать кому-либо впечатления от ее новой работы. Омар Хайям Ирины Евсы – перед вами, и, может быть, в ее переводах для вас откроются новые грани бессмертного поэтического наследия великого иранца.

Сокровенный же смысл его четверостиший, мистическое восприятие вещих строк гениального поэта-суфия достигаются не книжным знанием, а сердцем.

Прозаическая часть представлена в книге двумя разделами. Первый из них – художественно-исторический. Именно к такому жанру относится, на наш взгляд, обширный текст Хайяма «Науруз-наме» – необычная смесь исторических сведений, старинных легенд зороастрийского Ирана и небольших рассказов о людях и событиях разных времен и, в том числе, мусульманского периода истории Ближнего и Среднего Востока. «Науруз-наме» – «Книга о Новом годе», или «Новогодняя книга» – переведена Б. А. Розенфельдом, а некоторые входящие в нее рассказы, относящиеся к жанру суфийских притч, даются в пересказе Лео Яковлева.

Во втором разделе прозаического блока книги сосредоточена философская и научная проза Хайяма (научные трактаты). Это важная часть его творческого наследия. Сохранившихся научных сочинений Хайяма относительно немного, а если верить его биографу ал-Байхаки, который писал о «скупости» Хайяма, то их и первоначально было не очень много, и этому есть объяснение: Хайям по уровню своих познаний был энциклопедистом, но к его времени наука во всех областях еще не накопила качественно новой информации по отношению к той, что составила основу энциклопедических трудов аль-Бируни и Ибн Сины, и Хайям брался за перо лишь в тех случаях, когда он был уверен в новизне своих научных результатов. Философская проза Хайяма очень личностна. Она дополняет образ этого человека, созданный его стихами, и чуткий читатель услышит в ней Голос мудреца, уже знакомый ему по четверостишиям.

По преданию, за несколько лет до рождения Хайяма в его родном Нишапуре встретились великий ученый Ибн Сина и великий суфий Абу Саид Майхани. После многочасовой беседы, оба подвели ее итог одними и теми же словами:

– То, что я знаю, он (Абу Саид) видит,- сказал Ибн Сина.

– То, что я вижу, он (Ибн Сина) знает,- сказал Абу Саид.

Судя по философским трактатам и поэтическому наследию Хайяма, в нем сочетались и научное знание, и мистическое видение сущности вещей. И, несмотря на свою «скупость» в сочинении трудов, Хайям уже при жизни был признан великим ученым и мудрецом, и другие авторы, ссылаясь на него, прибавляли к его имени такие почетные эпитеты, как «мудрец», «Доказательство Истины», «славнейший шейх», «имам», «Философ мира», «Господин мудрых Востока и Запада» и т. п. Применялось в отношении к нему и почетное звание «Царь ученых», которое до

него принадлежало Ибн Сине.

В судьбе Хайяма подтвердились слова Екклезиаста: «От многой мудрости много скорби, и умножающий знания умножает печаль», и поэтому читатель его философских этюдов, успокоенный неторопливой и искусной вязью слов истинного мудреца, вдруг замирает, когда перед ним неожиданно раскрывается бездна отчаяния, безысходности, грусти и сияния преходящей и возрождающейся Красоты – его поэзия.

И в философской прозе и в «Науруз-наме» имеются автобиографические отступления, но более всего автобиографические сведения сосредоточены во введениях к алгебраическому и геометрическому трактатам Хайяма, где он рассказывает об условиях своей жизни в период написания сочинений, раскрывает свой круг научного чтения и, отчасти,- свой метод познания. Эти страницы написаны живым и простым языком, и их прочтение не требует специальной подготовки, и они завершают включенный в эту книгу цикл хайямовской прозы, предваряя, таким образом, блок биографических материалов, который был описан в начале этого предисловия. Все философские и математические сочинения Хайяма были переведены Б. А. Розенфельдом для их научного издания, вышедшего в свет в 1961 г. в серии «Памятники литературы народов Востока».

Лео Яковлев

Примечания

1 Слово «эпикурейский» применено здесь в общепринятом значении и ничего общего не имеет с той предельной скромностью и простотой, которые были свойственны как гениальному Эпикуру, так и самому Хайяму. Что касается эпикурейской теории истинного наслаждения, то греческий философ пришел к ней в те мгновения, когда его, страдавшего почечно-каменной болезнью, покидала боль.

2 Ср.: Рубайят Омара Хайяма с комментариями Й. Парахмансы. Б. м.: Изд-во «Урал LTD», 1999. С. 229.

3 См., в частности, в изданиях «ЭКСМО-Пресс»: «Песнь песней», «Сафо. Остров Лесбос», «Орфей. Языческие таинства. Мистерии восхождения» (все – 2001 г.) и др.

Лео Яковлев

ИСТОРИЯ ОМАРА ХАЙЯМА,

рассказанная им самим

Тайна Хайяма

(Предисловие)

Историк литературы и автор исторических романов и повестей Юрий Тынянов свое кредо исторического романиста выразил следующими словами: «Там, где кончается документ, я начинаю».

Если бы он поставил себе целью написать биографию Омара Хайяма (1048-1131), то столкнулся бы с полным отсутствием каких-либо прижизненных документов – писем, рукописей, дневников и черновиков – всего того, с чем он привык и любил работать и что создает хотя бы контур портрета, в котором уже потом художественными средствами можно было бы воссоздавать детали.

В поле зрения биографа Хайяма находятся всего лишь три кратких сообщения людей, лично его знавших. Один из этих современников – историк ал-Байхаки, кроме записей о своей личной встрече с мудрецом, оставил очень краткое его жизнеописание, в котором к тому же полностью отсутствуют временные и географические реалии.

Упоминания о Хайяме содержатся также в сочинениях восьми средневековых мусульманских историков. Из них наиболее близким к нему является автор «Истории мудрецов» Джамал ад-Дин ал-Кифти, родившийся через сорок лет после его смерти. Среди особенностей этих позднейших свидетельств следует отметить свойственную им противоречивость в части места и времени описанных в них событий.

Все это создает, казалось бы, непреодолимые препятствия перед тем, кто решится написать биографию этого поэта и ученого, и в первый раз я столкнулся с такого рода трудностями,

когда подошел к этой проблеме традиционно. Опираясь на те самые редкие свидетельства, о которых говорилось выше, я попытался логическим путем устранить содержащиеся в них противоречия и, подкрепив свои соображения общеизвестными четверостишиями, выстроить их в хронологическом порядке.

Несмотря на то что журнальный вариант моей «традиционной» биографии Хайяма был опубликован – к 950-летию со дня его рождения, под названием «Когда б я властен был над этим небом злым» (журнал «Калейдоскоп», Нью-Йорк, 1998, № 5), я продолжал поиски более совершенной формы его жизнеописания, которая позволила бы полнее воссоздать события и обстоятельства жизни этого великого суфийского поэта и мыслителя и дать его портрет во времени и на историческом фоне его эпохи.

Художественный прием, состоящий в том, что автор ведет повествование от лица своего героя, известен с тех пор, как появилась литература (вспомним хотя бы Апулея). Однако примеров его использования в тех случаях, когда героями произведений являлись исторические лица, за исключением относительно немногочисленных явных мистификаций и подделок, было совсем немного. Например, в прошлом веке появились великолепные образцы авторского перевоплощения в исторических лиц (Леонид Гроссман, Натан Эйдельман и др.). К этому опыту я и обратился.

Свободное повествование, в котором сменяют друг друга события личной жизни Хайяма, его раздумья над загадками бытия и исторические картины неспокойного исламского средневековья, позволяет приоткрыть завесу, покрывающую неиссякаемый источник неподвластного времени вечного очарования хайямовских строк.

Может быть, кое-кто из читателей будет разочарован кажущейся простотой жизни Хайяма. Но здесь нужно учитывать, что он был суфи – человеком, жившим одновременно в двух мирах – земном и вышнем. Вначале Хайям, по своим взглядам и под влиянием разработанного Джунайдом «учения трезвости», был близок к мистическому Пути «каландарийа», а затем примкнул к суфийской школе «хваджаган», период зарождения и формирования которой пришелся на последние два десятилетия его жизни. О мощной энергетике этой школы свидетельствует тот факт, что в виде суфийского братства «накшбандийа» она практически существует до сих пор.

Не следует забывать и о том, что большую часть жизни Хайяму приходилось скрывать свои суфийские убеждения, поскольку это мистическое направление было легализировано в

исламе лишь после 1105 года, и только после этого в своем трактате «О всеобщности существования» он впервые открыто изложил основные принципы суфийского Пути «хваджаган».

С философскими взглядами Хайяма связана и не соответствовавшая его материальным возможностям относительная воздержанность в земных наслаждениях и утехах, отразившаяся в его жизнеописании и, на поверхностный взгляд, не соответствующая эпикурейским настроениям в его поэзии. В этом также нет противоречия. Дело в том, что суфийская поэзия, мастером которой был Хайям, пользуется своим особым языком, и в нем слова имеют, наряду со своим обычным – внешним,- еще и иное значение.

Конечно, человек может и имеет право наслаждаться поверхностным содержанием его стихов и воспринимать их буквально, как гимн радостям жизни, вину и красоте, и как печаль, навеянную осознанием краткости земного бытия. И даже в этом случае длительное общение с текстами Хайяма способствует особому совершенствованию сознания.

Прочтение же Хайяма на его тайном языке – языке суфи, где слова меняют свой смысл в зависимости от контекста и от уровня суфийского самосознания читающего и где «гончар» может, например, означать «Творец», «полная чаша» или «кувшин» – символ и мера человеческой жизни, роза – олицетворение Красоты и чувственного наслаждения, кабак – человеческое тело – обитель души, проводящей в нем несколько кратких мгновений земной жизни, прежде чем пуститься в новые странствия по инкарнациям, и т. п., открывает Путь в прекрасные долины суфийской Вселенной – в тот параллельный мир, в котором странствовал Омар Хайям в годы своей земной миссии и где он пребывает и поныне.

Лео Яковлев

Фатиха1

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного! Велико величие Аллаха. Наше благодарение и хвала Ему – Создателю мира, Владыке Земли и времени, Дающему пропитание всему живому в мире, Знающему тайное и явное, Бесподобному, пребывающему без соправителей и без советников, Единственному, Могущественному и не нуждающемуся в чьей-нибудь помощи! Наш поклон всем Его пророкам, начиная с чистого Адама и до Его посланника к арабам и ко всем народам Земли – Его избранника Мухаммада. Благословение Аллаха всем им, а также всему чистому роду Мухаммада, его друзьям и помощникам!

Так говорит мудрец своего века и всех времен, царь исследователей и глава ученых Абу-л-Фатх Омар ибн Ибрахим ал-Хайями из Нишапура, да будет Аллах милосерден к нему.

Изучение наук и их постижение с помощью доказательств истины необходимо всем, кто добивается спасения и вечного счастья. Я всегда полагал, что смогу понять то, что постигается чувствами, воображением и мыслью. И моя правота в этом была мне очевидна до тех пор, пока я был занят проблемами алгебры, геометрии и философии, но, когда я посчитал себя вправе с учетом своего возраста обратиться к исследованиям в области науки такой, казалось бы, весьма простой, по сравнению, скажем, с геометрией, как наука жизни, мои убеждения в могуществе «Второй аналитики» Аристотеля резко поколебались. Оказалось, что события жизни, даже своей собственной, никак нельзя расположить в одном порядке, поскольку причины их бесчисленны, а следствия противоречивы, и разум, хотя бы и вооруженный могущественной логикой, никогда не постигнет их до конца.

Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, однажды сказал, что ради знания стоит даже совершить путешествие в далекий Китай. Но оказалось, что мое знание собственной жизни, представлявшееся мне таким близким, в действительности было от меня более удалено, чем таинственный Китай. И тогда я решил расположить все события своей жизни, следуя не логике, а течению времени от моего появления на этом свете и до сегодняшнего дня, не доказывая ни их необходимости, ни их закономерности,- пусть это ищут другие – те, кто пожелает

через десять, сто и тысячи лет пройти по моим следам. А чтобы сохранить эти следы для будущих исследователей, я не нашел ничего лучшего и более точного, чем слово, и ничего более возвышенного, чем речь, ибо если бы во Вселенной было бы что-нибудь более замечательное, чем речь, то Всевышний обратился бы с этим к пророку, благословение Аллаха и приветствие ему. Недаром же говорят арабы: «Книга – самый лучший собеседник в твоей жизни».

Мы же обратимся к началу моей истории.

Нишапур2

Когда-то, очень и очень давно, я сильно сомневался, удастся ли мне в наш бурный век дожить до шестидесяти лет. Об этом я, кажется, написал в одном из своих четверостиший. Стихи эти я забыл, и опасения мои были напрасны: сейчас уже пятьсот шестой год3, мне шестьдесят пять, и я снова брожу по улицам и окрестностям Нишапура, где прошло мое детство и куда я не раз возвращался на своем, далеко не прямом, жизненном пути.

И где бы я ни проходил по Нишапуру, куда бы ни обращал свой взор,- везде и во всем проступают подернутые дымкой времени картины и образы давно прошедшей жизни. Перед моим затуманенным взором тихою чередой проходят один за другим когда-то жившие здесь люди. Я вижу прекрасные детские лица спутников первых лет моего пребывания на земле, за ними вихри ушедшей жизни проносят современников моей юности, вечно куда-то спешивших. Куда? Потом, робко и неуверенно от утраченных надежд, проходят люди моих зрелых лет, и я вспоминаю свои встречи и беседы с ними. Где все они теперь? Куда ушли они и почему не остались здесь, чтобы теперь, когда я вернулся в Нишапур уже, вероятно, навсегда, вместе со мной доживать свой век?

И теперь я один, без них, любуюсь вечной красотой окружающего мира – одной из прекраснейших долин Хорасана, с ее виноградниками, цветущими садами, серебряным блеском листьев в оливковых рощах. Я вижу горы Маада, укрывающие эту долину от северных и восточных ветров, горы, отдающие людям небесно-голубую бирюзу и утоляющие извечную жажду земли и всего живого водами капризной речки Джебаруд, разливающимися в тысячах оросительных каналов по всей долине, принося живительную влагу в самые отдаленные ее уголки.

Я вспоминаю вещие слова:

«Клянусь смоковницей и маслиной,

И этим городом безопасным!4»

И я, глядя на богатые и красивые дома моего Нишапура, думаю о том, насколько они вечны и что случится, если Аллах навсегда или на время за проступки людей отменит эту Свою клятву и откроет путь опасностям? Мало ли я уже видел на своем веку некогда красивых и прочных дворцов и башен, обращенных в руины людьми, ветром и временем?

Во имя Аллаха, Милостивого и Милосердного, молю Его о снисхождении к моему Нишапуру и к грехам населяющих его

поколений! Я хочу, чтобы мой город был вечным!

А теперь я расскажу о некоторых событиях, предшествовавших моему появлению на свет в этом мире и в этом городе.

Отец мой, Ибрахим ибн Мухаммад, был нишапурцем в четвертом или пятом поколении, а мать – Марйам из рода ал-Майаниджи – родилась в деревне близ Астрабада. Отец шил шатры и палатки и был известным мастером в своем деле. Во всяком случае, недостатка в заказах он не испытывал, а невостребованные заказчиками вещи сразу же раскупались на базарах. Был он грамотен, обладал великолепной памятью, вмещавшей не только Коран, но и множество хадисов5, и люди часто приходили к нему за советом. Тем более что дом его всегда был открыт для всех. Он считал себя обязанным в вопросах гостеприимства неуклонно следовать примеру пророка, чье имя он с достоинством носил. И он добился своей цели: слава о его хлебосольстве вышла далеко за пределы Нишапура.

Однако его сходство с пророком Ибрахимом этим не исчерпывалось. У него, как и у его тезки, долго не было детей, и это обстоятельство часто порождало в семье споры о том, кто из супругов виновен в бесплодии. Отец мой был однолюбом и не желал брать в дом других жен, но, поддавшись настояниям Марйам, он сблизился с невольницей, работавшей у них по дому и ставшей почти что членом их семьи. Ибрахим втайне надеялся, что и в этом его жизнь будет подобна судьбе его тезки – пророка, имевшего, как известно, сына Исмаила от невольницы Хаджар. Но здесь его ждало разочарование: невольница не забеременела, и, таким образом, виновник бесплодия определился однозначно.

– Семя твое прозрачно, и, пока оно не замутится, детей у тебя не будет,- говорила ему Марйам.

Шли годы, и Марйам уже потеряла надежду стать матерью, но Ибрахим верил, что Аллах ему поможет, как помог когда-то пророку, и он часто читал сам себе, потому что Марйам уже не желала его слушать, слова веры и надежды: «Дошел ли до тебя рассказ о гостях Ибрахима почтенных? Вот вошли они к нему и сказали: “Мир!” Сказал он: “Мир! Люди неведомые!”

И вышел он к своей семье, и принес жирного теленка, и предложил им, сказав: “Не покушаете ли?”

И почувствовал он к ним страх. Сказали они: “Не бойся!” – и возвестили они ему о мудром мальчике»6.

И вера его была вознаграждена.

Однажды в его доме, привлеченные слухами о его гостеприимстве, появились два странствующих суфи. Они, в отличие от гостей пророка Ибрахима, были не в белых одеждах, а

в каких-то лохмотьях и от еды не отказались, а, наоборот, очистили блюда со страшной скоростью. Разомлев от жирного плова, они стали наконец расспрашивать хозяина о его жизни и, узнав, что в доме не было и нет детей, поинтересовались причиной этому. Ибрахим честно рассказал все, как есть, и даже повторил слова Марйам о его незамутненном семени.

– Женщины глупы,- сказал один из суфиев,- но о твоей жене этого не скажешь, и если она права в своих словах, то я смогу тебе помочь.

И он продиктовал Ибрахиму какой-то рецепт, полученный им, как он сказал, в далеком Китае и помогающий от бесплодия замутнением мужского семени.

Когда отец рассказывал мне об этом происшествии, я еще был мал и, к сожалению, точного состава снадобья, состоящего из различных трав и плодов, я не запомнил. Память моя сохранила лишь такие названия, как гвоздика, кардамон, имбирь, перец, китайская кубеба и какие-то уж совсем диковинные вещи. Отец же мой, движимый верой в покровительство Аллаха, состав этот изготовил и воспользовался им. Марйам при этом смеялась, повторяя, сама того не зная, слова Святой Книги: «Старуха бесплодная!» – куда ей уже рожать, на что отец отвечал ей: «Так говорит твой Господь: ведь Он – мудрый, знающий!»7

И чудо случилось: Марйам забеременела, и у нее родился мальчик Абу-л-Фатх Омар, а стал ли он действительно мудрым – не ему судить. Чудеса же продолжались, и, когда Марйам уже действительно должна была бы стать «бесплодной старухой», она родила Ибрахиму девочку, мою сестру, и была она младше меня почти на десять лет. Назвали же ее Аишей, в честь одной из любимых жен посланника Аллаха, да благословит его Господь и приветствует, а само по себе имя «Аиша» означает «жизнь».

Время, нелегкий труд и ожидание детей изнурили моего отца, и умер он рано, как только смог увидеть личико Аиши. Мне он преподал не только урок достойной жизни, но и урок достойной смерти: я навсегда запомнил, как он спокойно и мудро готовился покинуть этот мир. Пугало его лишь то, что он оставляет семью в бедности, поскольку последние годы перед смертью он уже не мог работать с прежней силой.

В нашей последней с ним беседе он, между прочим, сказал:

– Что останется от меня, кроме тебя и Аиши, детей моих? Ветер и время рассыплют и разорвут сделанные мной шатры и палатки, и кто вспомнит мастера-палаточника по прозвищу «Хайям»?

– Я сделаю так, что прозвище твое будет знать и почитать весь подлунный мир,- ответил я ему и испугался сам своего

бахвальства, ибо то, что я осмелился сказать, должно было быть лишь просьбой, обращенной к Аллаху, а не таким безусловным личным обещанием, а я даже не произнес при этом заветных слов: «Если это будет угодно Аллаху».

Но Аллах знает все, и, судя по моей дальнейшей жизни, Он стоял тогда у меня за спиной и тем самым подтвердил мои слова. И Он же подверг меня многим испытаниям на моем пути.

Первым таким испытанием в моей жизни стала моя детская красота. О том, что я был очень красив, при мне и за моей спиной говорили все, и я слышал об этом с тех пор, как себя помню. Насколько эти восторги были справедливы, мне самому судить трудно. Я вел жизнь мальчишки и не разглядывал себя в зеркалах. Лишь иногда я видел свое лицо, отраженное в воде, и в те мгновения, когда рябь еще не успевала сделать его смешным, я, откровенно говоря, был им недоволен: мне не нравилась его смуглота. Подобно большинству смуглых людей, меня с малых лет инстинктивно влекли к себе светлые лица.

Но я почему-то нравился всем – и женщинам и мужчинам. И взгляды и ласки мужчин меня настораживали и даже пугали, и я всегда пытался держаться от них подальше. К тому, что скрывают мужчины, я не испытывал интереса. Лишь после обрезания я время от времени рассматривал его, да и он стал иногда напоминать о себе, наполняясь желанием при приближении женщин и девочек.

Зато то, что было у девочек и женщин там, где у меня был он, меня интересовало всегда. Женщины, естественно, тогда еще были недоступны моим взорам, но девочек, купающихся в водах Джебаруда, таких мелких, теплых и ласковых раннею весной, когда тающие горные снега еще не успевали превратить нашу тихую речку в бурный холодный поток, темный от увлекаемого им по пути песка, я иногда рассматривал, спрятавшись в прибрежных кустах.

Я смотрел и мечтал о том, как я прикоснусь своими руками к их заветной щелке. Я взглядом своим выбирал одну из них, светлотелую, и в своем воображении ласкал ее медленными движениями своих рук. Уже тогда я предчувствовал, что медлительность – это основа наслаждения друг другом.

Семи лет я стал учиться в медресе и очень быстро выучил наизусть Коран. Один из наших учителей – шейх Мухаммад-и-Мансур – обнаружил у меня способности к алгебре. Было это так: однажды этот учитель, занимаясь с группой старших учеников, сообщил им условие и потребовал решить уравнение, в котором из квадрата корня вычитается произведение числа на корень и ко всему этому прибавляется единица. Когда я услышал это условие,

в голове моей оно преобразовалось и пришло к такому виду: корень дополнялся единицей, деленной на этот же корень, и эта сумма была равна числу. Если же представить это число как сумму некоторого другого числа с единицей, разделенной на это другое число, то это другое число и являлось корнем уравнения. Пока ученики пытались решить это уравнение, я рассказал о своих соображениях учителю, и тот, выслушав меня, приказал мне подойти к нему после уроков. С тех пор он иногда беседовал со мной, приоткрывая завесы своей науки, но у меня при этом всегда возникало впечатление, что я давно знал все то, о чем он говорит, но только не задумывался об этом8. Зато когда темы наших бесед касались философии, мне эти разговоры приносили большую пользу.

Старшие ученики были уже юношами, и если даже мне было знакомо томление, то можно представить себе, какой силы желания временами охватывали их. И объектами их желаний часто становились мы, мальчишки. Мне не раз приходилось через два слоя тонкой ткани ощущать присутствие зрелого мужского жезла между ягодицами, а однажды, когда, возвращаясь домой, я сошел с дороги в поле по нужде и уже спустил шаровары, один из этих терзаемых желанием, налетел на меня, как вихрь. Жемчужина моя осталась несверленой, поскольку семя его излилось на меня уже через несколько мгновений, и он исчез так быстро, что я даже не узнал, кто это был, и только остывающая влага, оставленная им возле манившего его входа в мое естество, напоминала мне о том, что произошло.

Вскоре, однако, у меня нашелся защитник: один из старших учеников по имени Хасан, родом из Рея, не посягавший на мою задницу, предложил мне дружбу. Мы по его предложению скрепили наш договор, смешав свою кровь, и я стал его кровным младшим братом, а быть братом Хасана означало быть в полной безопасности, и не только в медресе, но и на улицах Нишапура, поскольку слыл он отчаянным парнем.

Затем появился у меня еще один кровный брат, на этот раз среди моих сверстников: Абу Раззак, из семьи Исхака из Туса, который был даже младше меня почти на год, подсмотрел, как мы с Хасаном смешивали свою кровь, и предложил мне сделать с ним то же самое. Я втайне давно мечтал о братьях – и старших и младших – и поэтому не отказал ему. Последствия этих, казалось бы, случайных событий имели большое значение для моей жизни.

Занятия мои шли хорошо. Я успевал во всем, и, если бы не смерть отца, я бы успешно завершил свое образование в Нишапуре. Но потеря кормильца, как я уже писал, поставила нашу семью на грань бедности. Чтобы прокормиться, мать

продавала все: и незаконченные шатры и палатки, и ткань, заготовленную отцом, и его инструменты. Продавалось все это не сразу, и, так как сестра моя, Аиша, была еще грудным ребенком и требовала ухода, мать часто оставляла меня с товаром на базаре. В том, что меня никто не сумеет обсчитать, она была уверена.

Мои базарные бдения сказывались на учебе: медресе свое я почти забросил и бывал там крайне редко. Я стал быстро расти, и одежда, которую нечем было сменить, становилась мне тесной и то здесь, то там рвалась и по швам, и по живому. Мне казалось, что зрелище я представляю весьма неприглядное, но, как ни странно, мною продолжали любоваться – и лицом, и стройностью стана, и осанкой, заставлявшей людей забывать о лохмотьях, укрывающих этот восхищавший их стан.

И однажды, когда я скучал на базаре у кучи тряпья в ожидании покупателей, вокруг поднялся страшный переполох. У пробегавшего мимо продавца лепешек я узнал, что это в наш город въезжает хакан Ибрахим Тамгач-хан. Нишапур находился тогда в приграничной полосе земель, управлявшихся тюркской династией, основанной Мухаммадом Айн ад-Даулой, и наследовавший ему хакан Ибрахим, вероятно, объезжал свои владения, опасаясь проникновения в них сельджуков.

Путь хакана и его охраны проходил недалеко от того места, где стоял я, и, к моему удивлению, проезжая мимо меня, хакан остановился и указал на меня плетью. Двое стражников тут же соскочили со своих коней, подбежали ко мне и, не сказав ни единого слова, подхватили меня под мышки, подняли меня над землей и поставили у ног вороного коня, на котором восседал хакан.

– Кто ты, о юный красавец? Откуда ты, и кто твой отец? – спросил хакан.

Я ответил, что отец мой умер два года назад, когда мне было десять лет, и теперь я живу с матерью и сестрой.

– Ты чему-нибудь учишься? – продолжал спрашивать хакан.

Я решил не вдаваться в истинную суть моего учения и скромно ответил:

– Я учу наизусть Коран!

Я понимал, что этим ответом я ничем не рискую, ибо я еще при отце выучил весь Коран наизусть.

Хакан приказал своим стражникам доставить меня и мою мать к нему в резиденцию после обеда, и один из стражников остался со мной, чтобы помочь мне отнести домой мой жалкий товар и затем препроводить меня с матерью к хакану.

Моим приходом под охраной мать была крайне напугана, и стражнику, объяснявшему ей, что произошло, не сразу удалось ее

успокоить. Вскоре мы вместе предстали перед хаканом, и владыка обратился к ней с такими словами:

– Я приму твоего мальчика, как сына, и воспитаю его так, как это будет приличествовать его новому положению, а ты не беспокойся о нем!

Потом он приказал своим приближенным выдать ей деньги, а для меня достать новую одежду, и через несколько дней я первый раз покинул Нишапур. Узнав, что я никогда в жизни еще не садился на коня, хакан распорядился, чтобы я ехал под опекой одного из дружинников на верблюде в небольшом обозе, следовавшем за его отрядом. Через несколько лет, при обстоятельствах, о которых я расскажу позднее, я научился скакать на коне, но я никогда не чувствовал себя в полном единении с этим благородным животным. Все время пребывания в седле я оставался в крайнем напряжении. Верблюд же вполне отвечал требованиям моей души. Он вносил в мою жизнь покой и освобождал мои мысли от тщеты и суеты. Сколько всего я передумал во время своих будущих странствий, и сколько раз мне оставалось только записать все свои рассуждения, сформулированные и выстроенные в строгом логическом порядке, во время моих длинных дорог! А когда я, по своей воле, без учителей и наставников, руководствуясь книгой незабвенного Абу-л-Хасана из Газни о раскрытии скрытого за завесами, вступил на Путь Джунайдийа9, именно во время путешествий на верблюде в безлюдных степях и пустынях я достигал высших ступеней единения с Богом.

Но это было потом, а тогда наш военный караван, двигаясь вверх по течению Джебаруда, обогнул затем горы Маада, с отрогов которых я бросил свой последний (я тогда не исключал этого) взгляд на город моего детства и на мою цветущую долину, и направился в сторону Мерва.

Почти двадцать дней мы провели в пути, прежде чем нашим взорам открылась красавица-Бухара. Ради этого зрелища стоило вытерпеть все лишения и опасности, выпавшие на нашу долю в пути. Стоило, рискуя жизнью, перейти вброд бурную Аму, чтобы увидеть это чудо! И там, в Бухаре, я впервые переступил порог царского дворца, а о том, что мои мать и сестра через несколько дней после моего отъезда из Нишапура переселились поближе к ее родне в деревушку одной из волостей округа Фирузгонд близ Астрабада, я узнал лишь спустя несколько лет.

Самарканд

В Бухаре я пробыл около месяца. Я бродил по городу, любовался величественной крепостью, мавзолеем Исмаила Самани и другими совершенными строениями, голубыми и зелеными куполами, красивыми садами, где уже поспевали янтарные и золотые абрикосы и где слышался плеск вод Мульяна, что-то кому-то шептавшего в тенистых яблоневых садах. Здесь я вспоминал знаменитую песнь великого Абу Абдалло10, тень которого навечно осталась в этих прекрасных садах, склоненная над ручьем. Мне кажется, что эти мои неспешные странствия по вечному городу дали душе моей больше, чем многие годы ученья в медресе.

Но, увы, не все разделяли это неоспоримое мнение, и, когда хакан Ибрахим узнал, что я целыми днями шатаюсь по городу безо всякого дела, он распорядился вернуть меня в школу. К тому же школа эта находилась не в Бухаре, а в Самарканде, но она считалась лучшей в царстве Ибрахима, и там, живя на полном пансионе, учились дети вельмож, высоких чиновников и военачальников. Поскольку это был именно тот круг, куда собирался меня ввести хакан, участь моя была решена.

Самарканд оказался более скромным, чем Бухара, но я ощущал скрытую энергию места и великое будущее этого города. Хуже обстояло дело с самаркандской школой: она не шла ни в какое сравнение с медресе в Нишапуре. Ученики здесь занимались только тем, что выясняли, чей отец важнее и богаче. На этом же вопросе было сосредоточено внимание почти всех учителей, и самыми успевающими считались дети более влиятельных родителей. На меня же никто не обращал внимания, и это меня радовало, потому что в школе было большое собрание рукописей и мне никто не мешал их читать без конца. Там я впервые прочел один из трактатов великого бухарца Абу Али и горько пожалел о том, что я разминулся с ним во времени на несколько десятилетий. Но история моих отношений с этим царем ученых настолько велика, что подробнее об этом будет сказано позднее.

А тогда я читал все подряд, но меня всегда удивляло, каким образом все прочитанное укладывалось в моей голове в определенном и строгом порядке. Вскоре знания мои оказались так велики, что мне стала ясна глупость моих учителей, именовавших себя «учеными». Я убедился в том, что они лишь покрывают истину ложью и лишь притворяются знающими. В их сообществе царила зависть и подтверждались слова пророка, да

благословит его Аллах и приветствует, о том, что зависть пожирает добродетели, как огонь пожирает дрова, и что среди шести человек, которым суждено войти в ад за год до Судного дня, обязательно будет и завистливый ученый. В самаркандской школе я убедился, что не всегда побеждает правый, ибо видел, как толпа завистников, использующих капли знаний, коими они обладают, лишь для своего личного благополучия исторгала в нищету тех немногих, в ком еще обитала совесть.

Я не буду здесь называть имена негодяев-учителей и их «достойных» учеников, чтобы не дать им избежать заслуженного забвения. Лишь для одного имени я сделаю исключение: Абу Саад ал-Ганили. Это был учитель математики; такой же хорасанец, как я, только родом из Герата. Он был скромен и держался в стороне от жадной и беснующейся своры своих коллег, не изменяя своему жизненному девизу: «Довольствуйся малым, за которым не следует зло». Личных достижений в науке у него, можно сказать, не было, хотя он очень гордился своим объяснением того, как образуется конус: «Он (конус) образуется,- говорил он,- из прямоугольного треугольника, если одна из двух его сторон, образующих прямой угол, остается неподвижной, а плоскость треугольника вращается вокруг нее так, чтобы вернуться в исходную точку».

Абу Саад говорил, что этим своим определением он уточняет Аполлониуса11. При этом он не знал или забыл, что его определение принадлежит Евклиду. И вообще, все это – элементарные вещи, но Абу Саад, во-первых, учился у самого Абу Мухаммада ал-Лайса, а затем у Абу Насра из Хорезма, а во-вторых, имел в собственности рукописи нескольких старых и новых математических трактатов и не мешал мне их изучать.

Вообще, на пятнадцатом году жизни я понял, что учителя мне не нужны и что мне для моего совершенствования в науках вполне достаточно книг. Более того, в это время я уже сам стал записывать свой первый математический трактат. Однако пока я только читал, уединившись, я не привлекал к себе никакого недоброжелательного внимания, но, когда мои соученики и учителя увидели в моих руках калам и бумагу, я стал предметом их постоянных презрительных насмешек. Мои записи стали пропадать, мое уединение нарушалось шумными компаниями, и я был совершенно лишен возможности работать. Только моя природная уравновешенность удерживала меня от ответных действий, которыми, допусти я их, я бы уподобился этим скотам, но терпение мое все же подходило к пределу, и я стал всерьез задумываться о побеге из школы и из Самарканда, поскольку, как я считал, хакан Ибрахим просто забыл о моем существовании.

Однако вскоре я убедился, что ошибся.

В самый разгар моих раздумий о побеге в Самарканд возвратился Абу Тахир. Этот молодой человек – он был всего лет на десять старше меня – много времени провел на службе у хакана в Бухаре. Он получил хорошее образование, и, когда в Самарканде освободилось место судьи, хакан, к которому уже давно поступали сведения о всякого рода безобразиях, творящихся в этом городе, отправил туда для наведения порядка Абу Тахира, наделив его самыми высокими полномочиями, и, как оказалось, среди особых поручений властителя Бухары было также приказание посетить школу и ознакомиться с тем, как продвигается моя учеба.

Абу Тахир прибыл в Самарканд в почетной одежде12 и был в школе уже на следующий день после своего приезда. Меня он нашел в весьма плачевном состоянии. Нервы мои были издерганы, и терпение мое находилось на пределе, но я сразу же почувствовал его ко мне симпатию. Даже в случайно подслушанных разговорах моих недругов я находил признания моей красоты. «Прекрасный нищий» или «нищий Йусуф»13 – так они за моей спиной называли меня. Видимо, не остался равнодушен к моему юному облику и Абу Тахир. Он весьма подробно расспрашивал меня о моем учении. Наш разговор велся то на фарси, то на арабском, которым я в совершенстве овладел еще в Нишапуре. Через полчаса нашей беседы ему стало ясно, что кроме вреда мое дальнейшее пребывание в этой школе мне ничего не принесет, и объявил управителю школы и учителям, что волею хакана он забирает меня от них, а я отправился укладывать в дорожный мешок свои нехитрые пожитки. Важнейшим среди них были мои заметки на арабском языке к задуманному мной трактату по проблемам «алгебры» и «алмукабалы» – «восполнения» и «противопоставления».

Жизнь моя переменилась самым чудесным образом. Мне была отведена светлая комната в небольшом, но очень уютном дворце Абу Тахира. Дворец этот стоял в глубине обширного и прекрасного плодового сада. В этом саду моим взорам наглядно предстала смена поколений: рядом с высокими абрикосовыми деревьями, чьи кроны упирались в синее небо, соседствовали зрелые красавцы, ветви которых прогибались под тяжестью плодов, а между ними повсюду пробивалась молодая поросль, ожидавшая, когда величественные старики уступят ей свое место. Я же, глядя на могучие старые деревья, представлял себе этот сад в те времена, когда они были юными и сгибались или колебались, как тростник, от того самого ветерка, который теперь лишь еле заметно перебирает их листья. Мне потом казалось, что именно

тогда, выходя навстречу утреннему солнцу в этот волшебный сад, я впервые прикоснулся к сокровенным тайнам Всевышнего Йезида14.

С моими учеными планами дело, к сожалению, обстояло не столь благополучно, как с усвоением высшей философии бытия. Вольготная жизнь, отсутствие какого-либо режима и возможность когда угодно взять в руки калам и бумагу возымели обратное действие, и я проводил свое время в доме Абу Тахира в лени и праздности. Сам же Абу Тахир в те редкие свободные часы, которые ему иногда удавалось выкраивать среди тысячи дел, свалившихся на него, как на главного судью в неустроенном Самарканде, с доброй улыбкой наблюдал за мной и, если позволяло время, вел со мной непродолжительные беседы сам или в присутствии своих друзей. Его образование выходило далеко за рамки фикха15. Он хорошо знал философию обоих миров16 и ориентировался в вопросах математики, и, когда одну из своих бесед он осторожно подвел к проблемам алгебры, мне вдруг так страстно захотелось вернуться к своим занятиям, что я с трудом смог дождаться конца этого нашего с ним разговора, и, когда он завершился, я ринулся в свою комнату и достал из еще не распакованного дорожного мешка свои записки, и стройные формулы и безупречные геометрические образы стали толпой возвращаться ко мне из глубин забвения. Беседа с Абу Тахиром, видимо, сыграла в моем поспешном возвращении к наукам такую же роль, как песня Абу Абдалло о ветре Мульяна, вызвавшая поспешное возвращение в Бухару из Герата царя Насра ибн Ахмеда Саманида, услышавшего ее из уст великого поэта…

Я, однако, не знал, каким временем я располагаю и сколько месяцев и лет мне суждено еще прожить в гостеприимном доме Абу Тахира и в окружении его близких и друзей. И поэтому, когда я возвратился к своим ученым занятиям и перечитал свои заметки, я увидел, что, с одной стороны, решение всех поставленных мною перед собой алгебраических задач займет еще несколько лет, а с другой,- что того, что уже сделано, хватит на небольшой трактат, который сам по себе поможет мне, шестнадцатилетнему юнцу, создать себе серьезную репутацию, и я решил сначала завершить его, а потом уже приняться за более обширное сочинение.

Мои впечатления от недавно пережитых унижений в школе были еще сильны, и я поэтому не удержался от того, чтобы в этом своем первом трактате помянуть недобрым словом тех, кто хвастлив, тщеславен и бессилен и чьи головы и души не вмещают ничего, кроме, разве что, чего-нибудь малозначительного из наук, а потом эта усвоенная ими малость кажется им исчерпывающей

все содержание Знания.

Все время, пока я работал над этой рукописью, я чувствовал заботу и внимание Абу Тахира, постоянно интересовавшегося, как продвигается моя работа, а также тех, кто часто собирался в его доме. Среди них бывал и замечательный математик Абу-л-Хасан ал-Анбири, чьи советы были очень ценны для моей работы, а афоризмы полезны для моего нравственного развития. Из его мудрых изречений мне навсегда запомнились следующие:

«Доносчик, даже если он источает доброе наставление, всегда неприятен.

Если ты намерен совершить зло, то никогда не торопись это сделать.

Правду искреннюю стерпит от тебя даже недруг, а ложь оттолкнет тебя даже от самого себя».

Так говорил ал-Анбири. И не он один был мудрым в этом собрании у Абу Тахира в его доме. И я посчитал своим долгом сказать в своем трактате и о том, что значила для меня их духовная поддержка. «Если бы не высочайшее достоинство спрашивающего, да сделает Аллах вечной Свою поддержку ему,- писал я об Абу Тахире,- и если бы не благородство собирающихся у него, да будет это благородство вечным, я был бы в большом отдалении от всего, о чем здесь написано, так как мое внимание и все мои силы расходовались бы на выживание среди врагов моей души и ненавистников моей мысли». Там же я написал о своем желании продолжить этот труд, если мне будет отпущено необходимое время и будет сопутствовать успех в моих планах.

Абу Тахир был очень доволен моим первым трактатом и сразу же отдал его переписчикам, чтобы те сделали несколько копий, которые по его указанию были доставлены в различные библиотеки, а я получил время и условия, необходимые мне для продолжения работы.

Обладая научным складом ума, я исследовал и анализировал все явления, происходившие вокруг меня, и нередко объектом моих наблюдений становился человек и, прежде всего, я сам. Так я, в частности, заметил удивительную вещь: желания и предчувствия плотской любви, которые, как я уже писал, время от времени посещали меня и в более юные годы, куда-то пропадали и не напоминали мне о себе тогда, когда все мои мысли и душевные силы были поглощены поиском Истины. Более того, каждый даже самый малый мой успех в научном поиске, самое незначительное продвижение к цели приводили меня в состояние восторга, и я испытывал какое-то высшее наслаждение, пред которым бледнели все мои ожидания плотских радостей. Все это привело меня к выводу о том, что приближение к Истине

бесценно, а любовь к Истине является высшей формой любви. Я не спешил делиться с другими этим своим открытием. Какое-то чувство подсказывало мне, что к таким выводам каждый должен прийти сам по себе. Более того, когда я окончательно сформулировал это свое открытие, мне стало казаться, что я уже слышал эти слова от каландаров17, иногда появлявшихся в Нишапуре и у медресе, и на базаре. Они неоднократно вступали со мной в беседу, но я тогда еще не был готов к восприятию услышанного. Видимо, для понимания их речей был необходим хоть какой-нибудь собственный жизненный опыт, и в этом я постепенно убеждался.

То ли хакан Ибрахим в очередной раз забыл обо мне, то ли Абу Тахир походатайствовал за меня перед ним, чтобы я мог еще некоторое время пожить в его великолепном доме, да сохранит его Аллах навеки, но, так или иначе, я получил возможность продолжить свои занятия алгеброй в тишине и спокойствии, свойственных этой благословенной обители.

Радость моя по этому поводу была так велика, что я опять прямо на страницах своего трактата воздал хвалу своему благодетелю, называя на сей раз его благородное имя и посвящая ему свой труд: «Поскольку Всевышний Аллах одарил меня Своим благом, я посвящаю этот трактат его сиятельству, нашему славному и несравненному господину, судье судей, имаму Абу Тахиру, да продолжит Аллах его возвышение и да повергнет Он тех, кто питает против него зависть и вражду,- писал я и продолжал: – Я уже отчаялся увидеть столь совершенного во всех практических и теоретических качествах человека, когда предо мной предстал наш господин Абу Тахир, сочетающий в себе и проницательность в науках, и твердость в действиях и усилиях делать добро всем людям. Его присутствие рядом со мной постоянно возвышало мою душу и расширяло мою славу, укрепляло меня в моих планах и убеждало в значительности всего того, что я делаю. Благодаря моему пребыванию в его высокой резиденции, я почувствовал себя обязанным выполнить все то, что я утратил из-за превратностей судьбы, и кратко изложить то, что исследовал и в чем достиг сокровенных глубин».

Раздумывая о превратностях своей судьбы, я ясно ощущал присутствие в ней Аллаха, поскольку только с Его благословения мой путь мог быть так круто изменен, и я счел своим долгом упомянуть об этом в своем трактате следующим образом: «Я ухватился за веревку помощи, брошенную мне Всевышним Аллахом, с надеждой, что Он дарует мне успех в доведении до конца начатого мной исследования, как и тех моих трудов, которые мне предстоит исполнить, если Он продлит мои дни до

необходимых пределов. Я опираюсь на Его прочную поддержку, потому что Он – господин исполнения молитв и к Нему нужно прибегать во всех случаях».

Что касается того Случая, который свел меня в жизни с благородным Абу Тахиром, то его действие подошло к своему концу: я едва сумел подержать в руках копии моего второго и последнего самаркандского трактата и отметить свое семнадцатилетие, как в город вошел большой военный отряд во главе с самим хаканом Ибрахимом, возвращавшийся в Бухару после объезда восточных границ царства.

Уже во второй день своего пребывания в Самарканде, проходившего в присутствии Абу Тахира, властитель задал моему благодетелю вопрос обо мне и получил исчерпывающую информацию о моих успехах.

Подробный рассказ Абу Тахира убедил его в том, что мое учение следует считать законченным, и мне было дано указание собираться в путь. И вот, неделю спустя, с отрядом хакана Ибрахима я покинул Самарканд.

Путь до Бухары мне предстояло проделать не на верблюде, а в седле, и я возблагодарил Аллаха за то, что Абу Тахир, всячески поощряя мои научные занятия, находил время для обучения меня верховой езде. Это происходило обычно во время наших совместных конных прогулок по берегам Зарафшана. Эти прогулки, о которых я буду помнить до конца дней своих, приносили моей душе спокойствие и уверенность.

Теперь же я опять скакал на рыжем жеребце вдоль берегов того же Зарафшана, но в душе моей не было ни спокойствия, ни уверенности, ибо я не знал, что меня ожидает даже в самом ближайшем будущем. Оставалась надежда на Аллаха великого. Он все видит и знает все.

Через два дня пути наш отряд вступил в благородную Бухару под приветственные крики подданных хакана. Было ли это ликование искренним – я не знаю.

Бухара

Мне была выделена небольшая комната с отдельным выходом в сад во дворце, принадлежавшем сыну хакана – Шамсу ал-Мулуку. Принц большую часть времени проводил на охоте и в развлечениях, и я был рад уединению. Во дворце Шамса ал-Мулука была довольно большая библиотека. В ней, в частности, имелись многие трактаты гениального бухарца – величайшего философа всех времен Абу Али ал-Хусайна ибн Абдаллаха Ибн Сины ал-Бухари (да будет с ним благословение Аллаха), и я был благодарен Случаю, позволившему мне систематически изучать его несравненные труды. Стоит ли говорить о том, что с этих пор я стал его самым верным рабом и последователем на путях к Истине.

Когда пришла пора зимних ветров и непогоды, принц Шамс ал-Мулук стал больше бывать в городе и во дворце. Он скучал, и мои беседы с ним, видимо, оказались для него приятными, потому что он стал постоянно приглашать меня к своим трапезам. Принц был человеком с быстрым умом, но без какого-либо систематического образования. Он знал обо всем понемногу, но иногда суждения его были настолько свежи и оригинальны, что и мне было интересно вести с ним разговор. Общаясь с ним, я еще раз убедился в том, что Аллах всемогущий справедлив в распределении крупиц высшей мудрости, но не все сыны Адама готовы к тому, чтобы принять Его дар.

Моим же речам принц Шамс ал-Мулук внимал с серьезностью и с восторгом, следя за тем, чтобы все прочие гости, пришедшие в большинстве своем полакомиться царским угощением, слушали меня, не отвлекаясь и не нарушая тишины вокруг говорящего. Особенно принц любил мои пересказы философских сочинений Абу Али Ибн Сины, которые, признаюсь, я существенно сокращал и еще более упрощал, чтобы облегчить их понимание людьми непосвященными.

В Бухаре того времени еще были живы люди, утверждавшие, что они знали великого Абу Али лично. Я, естественно, не мог проверить правдивость их слов, но кое в чем их рассказы об этом царе ученых совпадали. В частности, они рассказывали о том, что, желая преодолеть сон или усталость, он обычно выпивал чашу вина и никогда не ограничивал себя во всех радостях жизни. Когда я однажды рассказал об этих подробностях Шамсу ал-Мулуку, принц выслушал меня с интересом, а потом, хитро прищурившись, спросил:

– А не хочешь ли ты по его примеру изучить на собственном

опыте свойства вина?

Я ответил, что вино запрещено исламом, но если Аллахом предопределено мне такое испытание, то я попытаюсь его пройти.

На это принц ответил, смеясь:

– Считай, что предопределение Его свершилось: ведь это по Его воле тебя встретил мой отец и ввел тебя в мой дом, в котором всегда можно найти вино!

– Но стоит ли грешить ради какого-нибудь сомнительного и временного удовольствия? – спросил я.

– Стоит ли или не стоит – это ты решишь, когда сам попробуешь,- ответил принц и продолжил: – А пока ты, знающий наизусть Коран, скажи, что в нем Аллах говорит нам о вине?

Я задумался, потому что никогда не ставил перед собой такую задачу. Перебрав в памяти весь текст нашего Священного Писания, я сказал:

– «Оно полезно для людей, но грех его больше пользы»18 и «Не приближайтесь к молитве, когда вы пьяны, пока не будете понимать, что вы говорите»19 – это слова из второй и четвертой сур.

– Вспомни еще что-нибудь, о знаток Корана! – не унимался принц.

Я напряг свою память, и передо мной возникло описание джанны20, данное нам Аллахом:

– «Образ сада, который обещан богобоязненным: там – реки из воды непортящейся, и реки из молока, вкус которого не меняется, и реки из вина, приятного для пьющих, и реки из меду очищенного»21.

– А встречалось ли тебе в Коране слово «майсара»? – спросил принц.

– Да,- ответил я,- но оно означает «благодать Божия».

– А теперь прочти его на своем языке,- приказал принц.

– «Вино дозволено»,- перевел я это слово на фарси.

– Вот видишь,- сказал принц,- сначала Аллах сказал о греховности вина, а потом разъяснил сущность этого греха, и так как до молитвы еще далеко, то мы можем выпить по пиале этого напитка из благословенного Фанаруза22.

И он разлил в ослепительно белые чаши красивую прозрачную рубиновую жидкость. Ее горьковатый вкус сразу же показался мне неприятным, но потом я почувствовал, как по моему телу разливается тепло, а к сердцу подошла волна радости. Даже окружавшее нас роскошное убранство царского жилища и волшебная прелесть сада за окном стали еще более прекрасными. Беседа наша оживилась, голоса зазвучали звонче, и мне захотелось выпить еще чашу, но принц возразил:

– Говорят, что выпитая пятая пиала чистого вина раскрывает сущность пьющего человека – все доброе и злое, что таится в его душе. Зачем нам, особенно мне – будущему царю этой земли, раскрывать перед кем-нибудь свою сущность? Давай оставим тайное тайным и будем пить вино лишь настолько, насколько оно укрепляет нашу дружбу.

Мне нечего было возразить на эти умные слова, тем более что дружба принца меня не утомляла, хотя временами мне казалось, что степень нежности в его отношении ко мне несколько превышает тот уровень, который, на мой взгляд, уместен в отношениях между мужчинами. Впрочем, мне самому спустя несколько лет пришлось убедиться в непрочности этих границ и пределов.

Тогда же нашу беседу и застолье принц закончил следующими словами:

– У тебя в твоих занятиях философией, думаю, частенько будет возникать необходимость оживить ум, обострить память и унять тоску безнадежности, иногда возникающую на пути к предвечной Истине,- все это сделает одна чаша вина, и тебе следует всегда иметь под рукой запас этого волшебного напитка.

И далее он призвал одного из своих самых верных слуг, и тот подробно объяснил мне, у кого в квартале магов23 я смогу выбрать вино по своему вкусу.

Памятуя о приятных ощущениях, вызванных первой в моей жизни чашей вина, я не стал откладывать свой визит к виноторговцу.

Старик-маг вполне соответствовал описанию, услышанному мной от слуги Шамса ал-Мулука. Он долго расспрашивал меня, откуда я родом и как я узнал о его заветном товаре. Услышав, что я – ученый, он успокоился, сказав, что многие ученые Бухары, и среди них сам великий Абу Али, посещали зороастрийский квартал по тому же самому поводу, что и я, и, прежде чем отпустить мне просимое, он поведал мне легенду о том, как вино появилось в Иране.

По его словам, был некогда в Герате могущественный царь Шамиран, и был у него сын Бадам, человек мужественный, сильный и ловкий, и великолепный стрелок. Однажды царь и его сын сидели на веранде дворца, а придворные почтительно их окружали, и в это время неподалеку от них на ограждение веранды с криком села птица Хумайун24. Царь заметил, что вокруг шеи птицы обвилась змея и душит ее.

– А ну, кто из вас настоящий мужчина и спасет птицу? – обратился царь к приближенным.

– Позволь это сделать мне, о царь-отец! – сказал Бадам.

И он взял в руки лук и пустил стрелу так осторожно, что она пронзила голову змеи, не причинив никакого вреда вещей птице. Птица Хумайун посидела еще некоторое время возле людей, приходя в себя, а потом исчезла.

Через год она появилась снова в тех краях, и царь обратил на нее внимание людей, сказав, что это та самая птица, которая была спасена здесь год назад, и все стали следить за ней. Царь же приказал осмотреть те места, где птица садилась на землю, и принести ему все то, что она там оставит.

Каково же было удивление людей, когда они увидели, что все дары птицы Хумайун представляли собой несколько косточек от неизвестных в этой стране ягод. Царь созвал ученых и знающих людей своей страны, показал им эти косточки, сказав, что это подарок птицы Хумайун, и спросил, что, по их мнению, следует с ними сделать. Все они высказали единое мнение: косточки нужно посадить в землю и то, что взойдет, надежно охранять от потравы, чтобы посмотреть, что из них получится.

Царь вручил эти косточки своему садовнику и, указав на дальний угол дворцового парка, повелел ему зарыть там косточки в землю, сделать густую изгородь вокруг этого места, денно и нощно охранять посадку от животных и птиц и время от времени показывать ему, царю, состояние ростков, если они появятся.

Садовник так и поступил, и через некоторое время там появилась небольшая ветвь. Царь созвал ученых, чтобы они определили, что это. Однако никто и никогда не видел такого растения, и царь решил посмотреть, что будет дальше. Вскоре ветвей стало больше, у куста образовалась твердая, но очень гибкая основа – ее назвали лозой,- а на ветвях между листьями появились гроздья невиданных ягод. Царь распорядился не трогать их до наступления времени созревания плодов. Наконец пришло и это время: в царском саду созрели яблоки, персики, гранаты, маслины, груши; второй раз уже плодоносила смоковница, и, когда царь со своими приближенными пришел в сад, гроздья неведомых ягод украшали свою мать-лозу, как невесту, но никто не осмелился их попробовать.

Ученые обратили внимание царя на сочность этих ягод и предположили, что в них имеется польза, но, чтобы проверить это, необходимо их сок собрать в одном чане и посмотреть, что с ним будет. Садовник строго выполнил предписание ученых, и через некоторое время пришел к царю и сообщил ему, что сок начал кипеть, хотя никакого огня под чаном, где он хранился, никто не разводил. Царь пожелал сам посмотреть на это явление и, увидев, что из чана непрерывно поднимаются к поверхности группы пузырьков, приказал сообщить ему, когда жидкость эта

успокоится.

Вскоре так и произошло, и царь с учеными пришли посмотреть, что стало с соком. Все были крайне удивлены, что из ягод черных, как агат, родилась такая прозрачная жидкость красивого рубинового цвета, и царь сказал:

– Теперь мы увидели, что ценность этого дерева в соке, добываемом из его гроздьев, но мы не знаем, что это – яд или противоядие.

И он приказал привести обреченного на смерть убийцу, дать ему выпить чашу этого сока. Выпив первую чашу, преступник застыл, как бы прислушиваясь к самому себе, но, когда его спросили, хочет ли он еще одну чашу, он ответил утвердительно. Выпив же вторую чашу, он вдруг стал веселиться, петь и танцевать, совершенно забыв об ожидающей его печальной участи, и даже сам царь показался ему не таким уж важным и величественным. Через некоторое время, слегка успокоившись и придя в себя, он сказал:

– Прошу о последней милости! Дайте мне еще одну чашу, а потом делайте со мной все, что хотите, ибо все люди смертны, и вы тоже, но никому из вас не доведется перед смертью испить этого чудесного напитка!

Царь дал знак исполнить его желание, и, выпив третью чашу, преступник заснул счастливым сном ребенка и проспал целые сутки. Когда он проснулся, его привели к царю, и властитель потребовал, чтобы он подробно описал все свои ощущения, и он сказал:

– Не знаю, что я пил, но это было великолепно. Первая чаша была горькой, и я уже задумался о предстоящих мне мучениях, если меня заставят пить еще, но в это время все во мне переменилось, и мне захотелось испить и вторую чашу. Когда же мое желание исполнилось, меня покинула печаль близости смерти и ко мне пришли такие радость и веселье, что жизнь моя стала легкой и я не увидел никакой разницы между мною, обреченным на казнь, и тобой – властелином чужих жизней. А выпив третью чашу, я заснул и во сне своем был счастлив, потому что видел светлые и сладкие сны!

Услышав все это, царь помиловал преступника, и с тех пор вино стало обязательным и в веселых и в грустных застольях.

Много лет спустя я побывал в Герате и с удивлением увидел там остатки крепости царя Шамирана, а у входа в город мне показали сад, называемый «Хирауйуза»,- имена этой крепости и этого сада называл мне старый бухарский маг, и я посчитал их плодом фантазии виноделов, и потому тогда я лишь подивился его рассказу, а все мое внимание было приковано к двум

кувшинам с вином, нагруженным виноторговцем на маленького ослика: я так боялся, что они разобьются, будто в них был не перебродивший сок виноградной лозы, а джинны, запечатанные там перстнем господина нашего Сулаймана ибн-Дауда25 (да будет мир и благословение Аллаха с ними обоими!).

После этого я сам неоднократно убеждался в благотворном действии вина. С его помощью отчаяние, часто охватывающее исследователя на пути к Истине, сменялось надеждой, и оно делало ученые беседы мои с моими собратьями по наукам более содержательными, и каждая из этих бесед становилась шагом вперед в нашем деле. Вино как бы приобретало свойства критика разума и критерия таланта для каждого из участников наших собраний. Меня, конечно, страшил сам факт нарушения общепринятого запрета, но я верил в предопределение Аллаха и в то, что я всегда пребываю под Его защитой, поскольку если бы Он не захотел, чтобы я узнал вкус вина, то я бы его так и не узнал. Кроме того, я на личном опыте убедился, что легкое опьянение всегда сродни божественному экстазу, и я лучше стал понимать каландаров, на языке которых «вино» означает «высшие формы блаженства», а «полная чаша» – «жизнь, подаренную смертным Всевышним с обязательным поручением: испить ее до конца».

И я неслучайно упомянул здесь о Божественном Предопределении: когда я только начинал выяснять свои отношения с вином, Оно уже стояло у моего порога. Первым Его проявлением стала смерть хакана Ибрахима. Мне было девятнадцать лет, когда это случилось, и на престол взошел принц Шамс ал-Мулук. Новое высокое положение и ответственность за страну не повлияли на его отношения к друзьям и, особенно, ко мне. Более того, теперь он не расставался со мной, когда находился в Бухаре, и даже брал меня с собой в тронный зал, где усаживал на высокое кресло, поставленное рядом с троном так, что наши головы были почти что вровень.

В Бухаре, однако, ему подолгу засиживаться не приходилось, поскольку его страна беспрерывно воевала. С востока ее границы пробовали на прочность кочевники, волнами приходившие из степей, а на юго-западе постоянная опасность исходила от сельджукского султана Арп-Арслана, и смело можно сказать, что если бы не грандиозные войны, которые Арп-Арслан вел на Западе, постепенно завоевывая Арабистан и Рум26, то государство Шамса ал-Мулука быстро прекратило бы свое существование. Но пока Аллах оберегал его, и новый хакан, как и его отец, был вынужден проводить время в постоянных походах.

Зная о моей близости к новому хакану, ко мне потянулись многочисленные ходатаи и просители, и я вскоре на собственном

опыте познал низость и коварство придворной черни и чиновников. Чтобы не унижать себя общением с ними, я испросил у Шамса ал-Мулука разрешения проводить летние месяцы в одном из принадлежавших ему хозяйств, недалеко от Джейхуна (эта большая река именовалась здесь Аму), где его слуги разводили и выезжали боевых коней и где был довольно удобный господский дом, большинство комнат которого пустовало.

Это уединение было мне крайне необходимо, потому что в бухарской библиотеке я нашел неизвестный мне ранее трактат ал-Лайса (мир и благословение Аллаха да пребудут с ним!), и знакомство с этим трудом сразу же убедило меня в необходимости дополнения моего алгебраического сочинения.

Я работал у открытого окна, и, когда мой взор отдыхал, его тешил вид скачущих полудиких коней, пытающихся сбросить с себя своих непрошеных всадников. А иногда мне становилось грустно от того, что великий Ибн Сина (да пребудет с ним мир и благословение Аллаха!), как утверждали знавшие его, пренебрежительно относился к математике. И это, вероятно, было правдой, ибо из трех десятков его трактатов, прочитанных мной в Бухаре, не было ни одного математического. Передавали мне также его слова о том, что тот, кто вкусил тонкости логики, будет скупиться тратить мысли на математику. Я никак не мог согласиться с ним в этом, и сам, относясь к тем, кто «вкусил тонкости логики», я тем не менее испытывал истинное наслаждение, используя эти свои знания при решении сложнейших математических задач.

Когда моя работа над дополнением к алгебраическому трактату уже подходила к концу и я стал чаще и подольше посматривать в окно на бег лошадей, я однажды заметил, что среди всадников вдруг появилась тонкая и стройная юная фигурка. Меня она заинтересовала, и я, поставив точку в своей рукописи, как-то поутру отправился к беговым полосам, чтобы рассмотреть ее.

Вблизи же я увидел на полудиком коне молодую девушку, почти девочку, и поймал быстрый взгляд ее прищуренных от солнца и ветра темных глаз, скользнувший по мне, когда она проносилась мимо. Вскоре один из всадников остановился недалеко от меня и слез с коня, чтобы поправить подпругу, и я подошел и спросил его о загадочной всаднице.

– Это царевна Туркан, дочь Хизр-хана, родного брата нашего хакана Шамса ал-Мулука!

Я сразу же вспомнил восьмилетнюю девочку, которую я увидел во дворце хакана Ибрахима в свой первый приезд в Бухару, и ее, показавшуюся мне недетской и загадочной,

обращенную ко мне еле заметную усмешку.

Несколько дней спустя, когда я в утренние часы внимательно читал у окна трактат Учителя27 о состоянии души, я услышал у себя за спиной легкие шаги, а когда я оглянулся, передо мной предстала сама царевна Туркан. В свои неполные тринадцать лет она, как это часто бывает у тюрчанок, выглядела почти взрослой девушкой, причем девушкой очень красивой, луноликой, с горячими черными глазами. Забегая вперед, скажу, что я прожил долгую жизнь и повидал много женских глаз, но прекраснейшими во всем мире для меня по сей день остаются глаза царевны, а потом и царицы Туркан.

А тогда мы некоторое время молча смотрели друг на друга. Первой прервала это молчание Туркан:

– Мне скучно здесь одной, Умар-джан,- сказала она,- и я зашла попросить тебя поехать со мной на прогулку.

– Но я плохой наездник,- возразил я,- и ты меня потеряешь уже до первого поворота.

– Ничего, мы найдем тебе смирную лошадь, и не забывай, что тебя просит та, которая могла бы приказать! – В ее последних словах появились отнюдь не капризные, а, я бы сказал, властные нотки: передо мной была не только прекрасная юная дева, но и, прежде всего, принцесса, и она мне об этом напомнила.

Мне уже оставалось только сказать:

– Слушаю и повинуюсь!

Наши прогулки стали ежедневными, и каждый раз мы удалялись все дальше и дальше от поместья. Однажды нам преградил путь мелкий залив: наступило время таянья снегов и льдов в горах, и река Аму, став полноводной, расширила свое русло. Туркан предложила не объезжать отмель, и мы стали пересекать ее напрямик. Но в том месте, где наши кони должны были уже выбраться на скользкий берег, Туркан вдруг не удержалась на лошади и упала в воду. Я выскочил на берег, бросил свой халат на траву и помог ей выбраться из воды. Потом я стал за поводья выводить на сушу ее коня, но животное, подчинявшееся только своей хозяйке, упиралось и оглашало окрестности громким ржаньем. Потом Туркан как-то по-особенному свистнула, и конь сам, фыркая, выскочил из воды. Только после этого я смог оглянуться на принцессу Туркан и не поверил своим глазам: ее шаровары и платье были развешаны на кустах диких роз, а сама она, обнаженная и прекрасная, покоилась на моем халате. Я остолбенел при виде этой бесстыдницы, а она спокойно сказала:

– Иди и ляг рядом со мной!

Увидев, что я продолжаю стоять как вкопанный, она

спросила:

– Разве тебе не известно указание: «Ответь зовущему»28?

– Нельзя делать то, что мы делаем,- сказал я, еще не веря в то, что уже обязательно должно было произойти.

– Почему нельзя? Разве ты не веришь в Предопределение? – продолжала она спрашивать и, не дожидаясь моего ответа, сказала: – Если Аллах управляет всем на свете, то Он управляет и движениями наших душ и тел, и если пророк говорит о том, что судьба каждого записана у него на лбу29, то, наверное, и на каждой ферджи30 записано имя каждого мужчины, для кого она откроется. Я прочитала там твое имя, как только еще совсем девчонкой увидела тебя, и это и есть Предопределение!

– Не богохульствуй,- только и смог вымолвить я, чувствуя, что меня увлекает к ней такая сила, которой я не могу противостоять.

Я по неопытности так и не понял, была ли она девственницей или мне проложил этот путь тот, кто оказался в том списке, о котором она говорила, впереди меня, но, когда она одела высохшую одежду и мы медленно возвращались в усадьбу, она была весела и все время чему-то улыбалась, а я был в растерянности.

Оказавшись один в своей комнате, я достал заветный кувшин и выпил чашу вина. Все как-то сразу стало на свои места, тревога ушла, и мне захотелось еще вина и… еще Туркан. С первым было проще и, опрокинув еще одну чашу вина, я спокойно уснул.

Встречи наши продолжались на том же месте, на зеленом берегу у тихой заводи. В моей комнате она больше не бывала, и я к ней не приходил: дом был почти пуст, и наши перемещения по безлюдным коридорам и террасам легко могли быть замечены прислугой. И мы под видом долгих прогулок почти каждый день посещали наше место – место Предопределения, как мы его называли.

Впрочем, вскоре мы убедились, что место это принадлежит не только нам. Однажды, когда мы отдыхали от любви, я почувствовал на себе чей-то взгляд со стороны зарослей. Я обернулся и увидел желтополосатый лик тигра. Царь Турана31 пришел посмотреть, чем занимаются люди в его владениях. Почувствовав, что тело мое напряглось, Туркан тоже повернула свое лицо к кустам, а я прижал ее моей, до этого ласкавшей ее рукой к земле, чтобы она замерла и не шевелилась. Тигр еще некоторое время смотрел на нас, потом зевнул, облизнулся и бесшумно исчез. По-видимому, он был сыт: стояло лето, и джейраны, подходившие стадами на водопой, были для него легкой добычей. Я обратил внимание на то, что Туркан не

испугалась зверя,- в этом прекрасном теле была бесстрашная душа! Я же испытал страх, и, как я был уверен, более за свою подругу, чем за свою жизнь. И еще – где-то в глубине души – я был горд тем, что выдержал взгляд дикого зверя, а позднее мне стало казаться, что это тигр уловил в моем взгляде повеление отойти от нас. Я, конечно, не приписывал себе силу господина нашего Сулаймана ибн Дауда (мир и благословение Аллаха с ними обоими), но в моей последующей жизни были еще случаи моего воздействия на зверей и даже на погоду32.

Тогда же тем не менее мы перестали посещать эту удаленную поляну, и было у нас в то лето еще несколько встреч в доме, и при этом я тайком приходил к ней, а не она ко мне, потому что я считал возможное наказание любящего более справедливым, чем позор любимой.

Все мысли мои были в те дни о Туркан, и я почти перестал читать. Но ко мне откуда-то свыше пришли стихи. Слова мои о любимой сами складывались в песни помимо моей воли, но, вероятно, краткость и красота логики настолько подчинили себе мой ум, что я просто не переносил длинных стихотворных форм. Сначала мне казалось, что для выражения моих мыслей, желаний и тоски о любимой достаточно маснави33, но знакомство с четверостишиями великого хорасанца Абу Саида Майханы34 убедило меня в том, что эта форма стиха наиболее соответствует моей душе, представляя собой, по сути дела, силлогизм – основу присущего мне логического мышления.

Я не буду превращать эти свои записки в собрание своих стихов. Стихи – они, как дети, отрываются от своего создателя и живут своей жизнью (а иногда и умирают), но два моих самых первых четверостишия, рожденные любовью, я хочу здесь привести:

Вином и розами у бегущей воды
Я буду наслаждаться с луноликой;
Пока я жив, и, пока я буду жив,
Я пью и буду пить вино любви.

И еще:

Прекрасна утренняя роса на лепестках цветов,
Прекрасно лицо любимой на зеленом лугу.
О дне прошедшем и будущем что ни скажешь -
всё будет плохо.
Не говори о них и радуйся тому, что сегодня -
прекрасно!

Этим стихам суждено всю жизнь напоминать мне о самых счастливых мгновениях моего бытия, о неповторимой и быстротечной красоте моей любимой в дни моей первой любви, и, когда я освежаю их в своей памяти, передо мной возникают образы быстрой бурной реки и тихой заводи, зеленого луга на ее берегу, отделенного от остального мира густыми и колючими зарослями диких роз, и обнаженная красота, открытая мне одному. И душа моя на всех парусах стремится туда, в этот уголок рая, а потом возвращается с печалью о том, что время необратимо и утраты неизбежны.

И еще в те незабвенные дни счастливого ожидания ко мне пришли звезды. После наших свиданий с Туркан я с непременной чашей вина – непременной, потому что я убедился на собственном опыте, что опьянение вином находится в тесном родстве с опьянением любовью,- я в одиночестве сидел на веранде нашего полупустого дома, обратив лицо к небу, и тогда я стал замечать и в расположении и в движении звезд определенный порядок. Среди взятых мной для чтения трудов Учителя были также трактаты об астрономических инструментах и небесных телах, и я дал себе зарок изучить их самым внимательнейшим образом, как только хмель моей любви ослабеет и душа моя вернет хотя бы часть своей свободы.

Жил тогда в моей душе и страх последствий моих с Туркан тайных деяний. Но я, по-видимому, в наследство от отца получил прозрачное семя, и то, что он считал проклятием – неспособность иметь детей,- стало для меня спасением, и я возблагодарил Аллаха за это свое невидимое увечье, ибо оно спасло две жизни: трудно было бы представить нашу дальнейшую судьбу – мою и царевны Туркан, если бы она вернулась с этих своих летних скачек беременной.

Главное лето моей жизни закончилось, и, когда по утрам зеленая трава стала покрываться плотным слоем белого инея, мы возвратились в Бухару.

Там нам с Туркан лишь иногда украдкой удавалось встретиться, и встречи эти были так кратки, что часто, когда я уходил от нее, мне казалось, что я просыпаюсь, выхожу из мгновенного забытья и все, что происходило в эти мгновенья, было сном.

Зато я стал больше времени отдавать науке. Оказалось, что астрономия уже после ухода Учителя значительно продвинулась вперед. Изучая звезды, я не мог пройти и мимо астрологии. Я не отношу астрологию к наукам, поскольку наука в моем представлении есть путь в еще неведомое, вечный поиск Истины,

движение, а астрология есть, по сути дела, застывший свод правил, и человек с хорошей памятью легко может эти правила усвоить, а если он к тому же обладает проникновенным голосом и напыщенной важностью, то он с успехом будет извлекать материальные выгоды из этого, отнюдь не строгого, знания.

Однако, приобретя ученую известность, даже такой молодой человек, как я, не мог оградить себя от просьб что-либо предсказать, исходивших от важных, но не очень образованных людей, и в этих случаях, как правило, мне было легче исполнить просимое, чем объяснить его бесполезность. Бывало все же и так, что, проводя различные астрологические операции в присутствии человека, ожидавшего их результаты, я вдруг явственно ощущал предстоящее спрашивающему. Я сообщал ему свои предчувствия, придавая им форму астрологических заключений, и они, как правило, оправдывались. Эти случаи постепенно создали мне славу искуснейшего астролога, но меня тяготила такая популярность, и я, как мог, уклонялся от астрологических прогнозов, что и положило начало досужим толкам о моей скупости в передаче своего знания людям.

Все, о чем я пишу, было моей жизнью, а рядом шла жизнь других людей и жизнь страны. Трудно сказать, что важнее: жизнь страны или жизнь населяющих ее людей. Могу лишь сказать, что жизнь стран, где я пребывал, не раз изменяла мою Судьбу в те моменты, когда, казалось, мне неоткуда было ждать перемен. Так было и в тот раз: размеренную жизнь Бухары нарушило известие о том, что султан Арп-Арслан, успешно завершив свой очередной поход на Рум пленением византийского императора, решил навести свой порядок во владениях хакана Шамса ал-Мулука в Мавераннахре35. Хакан узнал об этом, находясь в Самарканде, и, пока его отряд вернулся в Бухару, войско Арп-Арслана уже переправилось через Аму. Шамс ал-Мулук поспешно двинулся ему навстречу. Бой произошел на расстоянии одного дневного перехода к западу от Бухары. Сражение было выиграно сельджуками, но самому Арп-Арслану воинское счастье изменило – отважный боец и искуснейший полководец одним из первых пал на поле боя. Войско сельджуков возглавил семнадцатилетний Абу-л-Фатх Джалал-ад-Дин, который тут же в занятой им Бухаре был коронован под именем Малик-шаха, а Шамс ал-Мулук признал себя его вассалом.

На это торжество прибыл самый влиятельный после султана человек в империи сельджуков, всесильный визирь Низам ал-Мулк. Он собрал диван36 с приглашением местной знати и ученых и восславил на нем новый союз двух родственных стран, для упрочения которого Шамс ал-Мулук берет себе в жены

сельджукскую принцессу Рахму, а женой Малик-хана становится его сверстница – племянница Шамса ал-Мулука, принцесса Туркан.

Я возвращался из дивана с тяжелым сердцем, поскольку неумолимая государственная политика навсегда отбирала у меня мою любовь, и я, как я тогда думал, никогда больше не увижу прекрасное тело Туркан, не почувствую ее чарующий аромат, этот запах, сводящий меня с ума, и никогда больше она не обожжет меня своим разящим насмерть взором. Я горевал и думал о разлуке, начало которой было положено словами сельджукского визиря, но даже не мог предположить, что Судьба приготовила мне еще более тяжкие испытания.

Начались эти испытания незаметно, и первым шагом к ним оказалось приглашение на личный прием к визирю Низаму ал-Мулку.

Он принял меня в своей временной резиденции. Во время своих путешествий по западным землям Аллаха он пристрастился к кофе. Кофе был предложен и мне, и я рискнул попробовать, и мы приступили к нему после церемониальных приветствий. Опорожнив крошечную чашечку горячего терпкого и горьковатого густого напитка, я не мог бы сразу высказать свои впечатления. Одно я мог сказать сразу: вино и чай мне нравились больше.

Затем визирь попросил меня рассказать о себе. Когда я завершил свой рассказ, он спросил, помню ли я своего соученика по нишапурскому медресе Абу Раззака из Туса. Я ответил, что помню и что я и Абу Раззак – побратимы, объединившие свою кровь. Тогда Низам ал-Мулк сказал:

– Имя, под которым ты меня знаешь, есть мое звание, а мое настоящее имя – Абу Али ал-Хасан ибн Али ибн Исхак ат-Туси, и я – родной брат отца Абу Раззака. Я знаю о тебе не только по твоей ученой славе, но и по его рассказу, и, став его побратимом, ты стал членом нашей большой семьи. Любой из нас в любом поколении окажет тебе защиту и поддержку, потому что верность слову и братству – девиз нашей семьи. Говори же, чего бы ты хотел.

Я, не задумываясь, ответил, что хотел бы иметь постоянную ренту, которая позволяла бы мне жить безбедно, отдавая все свои силы поиску Истины.

Выслушав меня, визирь сказал, что просьба моя будет исполнена и, пока он и его потомки будут находиться у власти в здешних краях, я буду получать ренту, которая сделает меня независимым и обеспеченным человеком. Затем, помолчав немного, визирь сказал:

– То, что я решил твой вопрос, не означает, что я согласен с

этим решением. Послушай же мои сокровенные мысли: мой новый царь – молод и хорошо образован. Он преисполнен великих намерений не только всемерно укрепить свою державу, но и содействовать расцвету наук и искусств, чтобы сделать ее центром мира и оставить по себе добрую память в истории народов и стран земли. Мне известен и один из его конкретных планов: учредить в своей столице самую большую в мире обсерваторию и уточнить не только небесные наблюдения, но и календарь, то есть – изменить само время. Поэтому, может быть, ты отложишь свое уединение лет на десять-двадцать и, пока ты еще молод, займешься этим делом; мое же решение о ренте будет исполняться, где бы ты ни был – в какой-нибудь нишапурской келье или во главе собрания ученых, которых пригласят в обсерваторию Малик-шаха. Подумай об этом. Я не тороплю тебя, но пробуду я здесь не больше недели. Это и есть твое время.

Я с поклоном покинул приемную великого визиря, а еще через два дня сообщил ему о своем согласии стать главным звездочетом Малик-шаха. Я до сих пор не могу понять, что было в основе моего решения – открывавшиеся передо мной перспективы научных исследований или желание быть поближе к Туркан при полном понимании всей мучительной бесполезности этого приближения.

Наш караван был втрое или даже вчетверо длинней, чем тот, который двенадцать лет назад доставил меня в Бухару из Нишапура. Возглавляли и замыкали это шествие военные отряды. За головным из них следовала свита Малик-шаха и Туркан-хатун, затем в окружении своих помощников двигался великий визирь. С этой частью каравана перемещался и я, испросив себе разрешение расположиться на верблюде. Это избавляло меня от необходимости сосредоточивать свое внимание на дороге, мне не нужно было напрягаться, чтобы усидеть в седле и управлять животным, поскольку верблюд, следующий в караване, в управлении не нуждается. Мысль моя, таким образом, была свободна и, повинуясь моей воле, могла коснуться любого предмета.

С небольшого холма я оглянулся на золотую Бухару: у меня не было предчувствия того, что я покидаю этот прекрасный город навсегда. Но в одном лишь я был абсолютно уверен, что, даже вернувшись когда-нибудь сюда, я уже никогда не найду здесь свое счастье.

Одну из остановок на ночлег в пути наш караван совершил в моем Нишапуре. Выглядел он не так нарядно, как Бухара, но это была моя родина, и мое сердце не находило изъянов в этом городе. В мечети я узнал, что мои мать и сестра вернулись сюда

из Мазендерана37, и узнал, где находится их дом. Дом этот, приобретенный на щедрые дары покойного хакана Ибрахима, был уютен и довольно просторен. Увидев его, я представил себе, как я бы мог здесь спокойно жить и работать на ренту Низама ал-Мулка, и пожалел, что принял его назначение. Но отказаться от него я уже не мог.

Моя мать сильно постарела, и по тому, как она всматривалась в меня, я понял, что у нее плохо со зрением. Сестра же превратилась в девушку – я бы не сказал, что очень красивую, но что-то в ее облике было такое, что останавливало взгляд. Они обе повисли на мне, не выпуская моих рук, и Аиша все время приговаривала:

– Какой же ты красивый! Какой красивый!

Мне было приятно. Я давно уже не слышал таких слов. Правда, я читал их в глазах Туркан, когда она ждала меня нагая, в страстном томлении.

Нишапур мы покинули на рассвете следующего дня, и путь мой на этот раз лежал на запад. Караван шел ровной долиной, и скоро можно было только догадываться о существовании красивого зеленого города где-то там, позади, у подножия Маадских гор.

Исфахан при Низаме ал-Мулке

Двигаясь на запад, наш караван обходил южные границы мертвой соляной пустыни. Казалось, любая жизнь покинула эти места. Но это, конечно, было не так. Острый глаз хоть и с трудом, но мог заметить на растрескавшейся почве какое-то движение: то над камнем поднималась слившаяся с ним мордочка ящерицы, то, напуганные шествием каравана, спешили в свои норы желтые змеи.

Я, покачиваясь на верблюде, перебирал в памяти, что я в своей жизни слышал и читал об Исфахане. В некоторых сочинениях наших старинных писателей говорилось о том, что этот город, называвшийся древними Аспадана, был основан иудеями, когда они еще были народом Аллаха38, и их за веру в Него жестоко преследовал языческий тиран Навуходоносор. Там же было сказано и о том, что, после того как иудеи смогли вернуться в Ханаан, город этот полюбил и всячески украшал Зу-л-Карнайн39. Но потом этот город выделили из прочих своих городов цари Ирана. Помню, что я задремал среди этих размышлений, а когда проснулся, увидел, что все вокруг стало меняться: появились зеленые островки травы и деревья, становившиеся все выше и выше по мере нашего продвижения. Ощущалось присутствие реки, и, действительно, вскоре в стороне от караванного пути промелькнула узкая блестящая лента водной глади. Я уже знал от опытных проводников, что главным признаком приближения к Исфахану станет выход каравана к реке Заендеруд.

Я видел Туркан-хатун после ее замужества всего лишь дважды, и оба раза в Бухаре, где законы быта были не так строги, как в срединном Иране. Увидеть ее во время нашего совместного путешествия я даже не пытался, понимая, что такие попытки могут вызвать серьезное недоумение. И вообще, я уже приготовился к тому, что она через несколько дней исчезнет для меня навсегда на женской половине царского дворца.

До города оставалось еще полдня пути, когда караван остановился на непродолжительный отдых и чтобы напоить животных. Во время этой остановки было где-то там в голове колонны решено, что султан, Туркан-хатун и их свита с небольшим военным отрядом поскачут дальше, чтобы хотя бы поздно вечером, но в тот же день быть в Исфахане, а остальные заночуют на привале и, выступив на рассвете, прибудут туда посредине дня, что позволит сразу же удобно разместить тех из нас, кто попадает в сельджукскую столицу впервые.

И вот Исфахан предстал передо мной во всей своей дневной красоте посреди зеленой долины, окаймленной почти со всех сторон чредами пологих гор. Красивые дворцы и мечети, минареты и мосты радовали глаз, и я, еще несколько дней назад видевший только мертвую пустыню, подумал о том, как много значат реки, даже очень небольшие, в жизни людей. Именно возле них, возле моего милого Джебаруда, возле Герируда и Зарафшана, возле Заендеруда, возле звонкого ручья Мульяна, возникали и возникают красивые дворцы, волшебные сады, напоминающие правоверному о джанне, и целые города. Реки, ручьи и каналы, как вены, несущие кровь, разносят жизнь на земле Аллаха.

На следующий день меня пригласил к себе великий визирь и сообщил, что его величество султан даровал мне участок земли и приказал возвести на нем для меня дом и разбить сад, и что так как приказания султана выполняются немедленно, то работа эта уже начата, а пока он, Низам ал-Мулк, предлагает мне переселиться из временного лагеря к нему во дворец, где мне отведена комната.

Шел 465-й год40, мне было двадцать семь лет, и я по-прежнему оставался жителем чужих дворцов, на этот раз уже ненадолго. Великий визирь предоставил мне полную свободу, и я бродил по Исфахану, где меня повсеместно окружали следы ушедших поколений – брошенные дворцы, пришедшие в негодность мечети и другие примеры разрушительного действия Времени. Но тут же рядом

я видел молодую поросль: город обрастал и новыми лачугами, и новыми роскошными строениями. Такого ясного проявления круговорота времен я не видел ни в своем родном Нишапуре, ни в Самарканде, ни в Бухаре.

Прошел месяц моего пребывания в Исфахане, и меня пригласил к себе Малик-шах. Я не испытывал страха от предстоящей встречи – мое общение с хаканами Бухары убедило меня в том, что сильные мира сего такие же люди, как и их подданные,- со своими радостями и печалями. И если предстоящее посещение дворца султана и вызывало во мне трепет, то только потому, что я ни на минуту не забывал о том, что он стал темницей для моей вольнолюбивой возлюбленной Туркан, и что ее сердце, когда я буду во дворце, будет биться где-то совсем рядом со мной.

Султан Малик-шах был сердечен и прост в обращении, и я первоначально посчитал эту простоту за проявление примитивности его характера. Однако наша дальнейшая беседа убедила меня в том, что моя оценка была преждевременной. Дело

было так: когда мы сидели в гостиной, нас обслуживал красивый мальчик из эмирских детей, и делал он это с большим изяществом. Когда он вышел, чтобы принести султану трубку, я высказал свое удивление его совершенством, и султан сказал мне:

– Не удивляйся. Ты ведь знаешь, что цыпленок, вылупившись из яйца, начинает клевать зерно без обучения, но, если его вынести в поле, он никогда не найдет дороги домой. А птенец голубки не умеет клевать зерно и лишь раззевает клюв, чтобы мать положила ему туда пережеванную пищу, но, начав летать, становится вожаком голубиной стаи, летящей из Мекки в Багдад. Так и этот мальчик: его годы проходят в семье, где чтут этикет, а всем кажется, что он усвоил его с молоком матери.

Я подивился этим словам и подумал, что человек, обреченный Аллахом на власть над другими людьми, получает от Него вместе со своим Предназначением способность мыслить ясно, четко и образно.

Султан объявил мне, что мой дом на предстоящей неделе будет завершен, и что рядом с ним строятся еще дома для ученых-хорасанцев, которых он пригласил, чтобы они вместе со мной трудились в новой обсерватории. Это были достопочтенные Музаффар ал-Исфазари, Маймун ибн Наджиб ал-Васити и Абу-л-Аббас Лоукари. Не всем им удалось дожить до нынешних дней. Впрочем, тогда они еще не были «достопочтенными». Они были такими же молодыми, как и я, и мы вместе дружно взялись за работу. Уже через несколько месяцев после того, как мы собрались вместе, мы начали свои первые наблюдения. И незаметно потекли месяцы, дни и годы.

Однажды, посетив дворец султана Малик-шаха, я встретил там своего побратима Хасана Саббаха – он командовал одним из отрядов дворцовой стражи. Во время встречи со мной Хасан последними словами ругал Низама ал-Мулка, и я так и не сумел его убедить в том, что великий визирь полезен и государству и людям. Саббах много говорил об исмаилитах, и я почувствовал, что он крепко связан с этим движением. Напоминая о нашем кровном братстве, он пытался вызвать меня на искренний обмен мнениями по вопросам религиозной организации. Мне, твердо стоящему на Пути каландаров и Абу Саида, была чужда любая сектантская ограниченность, тем более связанная с признанием за кем-либо из смертных прав на наместничество и посредничество в моих личных отношениях с Аллахом. Однако ответы я давал уклончивые. Отпустить поводья своего языка я тогда еще не мог: слишком много невежественных ортодоксальных богословов можно было в те годы встретить в окружении султана. Дело в том, что в числе ученых, призванных

ко двору, в том числе из Хорасана, были и теологи, притом весьма талантливые.

Среди самых выдающихся из них я обязан в первую очередь упомянуть Абу Халида ал-Газали, который был младше меня лет на десять. Он был очень талантливым человеком, но меня весьма настораживала его критическая нетерпимость к философским взглядам Учителя, которые он, в пылу полемики на богословских спорах, называл еретическими и даже дьявольскими. От всего этого веяло слепым фанатизмом, и меня даже насторожило его повышенное внимание к обсерватории и нашим исследованиям.

Однажды, когда большая часть астрономических приборов у нас уже работала, он заявился к нам и стал подробно расспрашивать меня о результатах проведенных нами наблюдений. Я стал очень многословно объяснять строение небесной сферы, применяя различные термины, малопонятные не посвященному в тонкости астрономии человеку. Скоро я почувствовал, что он совершенно потерял нить разговора и, понимая, что его водят за нос, мучительно искал повод, чтобы закончить беседу. Наконец сквозь мою плавную и монотонную речь прорвался крик муэдзина, призывавшего правоверных к полуденной молитве. Услышав эти милые его уху звуки, ал-Газали прервал меня словами:

– Ну вот наконец пришла Истина, и перед ней отступила нелепость!

После этих слов он встал, что-то пробурчал на прощанье и покинул обсерваторию. Однако мне постоянно рассказывали о том, что он продолжает свои публичные обличения Абу Али Ибн Сины в неверии. Его задача упрощалась тем, что в стране становилось все меньше людей, знающих арабский язык, а Учитель свои труды писал исключительно по-арабски. Это обстоятельство серьезно беспокоило меня и до того, как ал-Газали появился в Исфахане. И я еще в 470-м году постарался выкроить из своих научных занятий время, необходимое для перевода на фарси известной «Проповеди» Учителя. Этот мой перевод прочли многие, и он успешно противостоял обличителям великого Абу Али.

Вероятно, мой перевод «Проповеди», странствуя через переписчиков из рук в руки, попал на глаза достопочтенному имаму и судье провинции Фарс Абу Насру ан-Насави, и он написал мне письмо, в котором были такие, не лишенные поэтического блеска, слова:

О восточный ветер, если ты соблюдаешь договор
по отношению ко мне, провозгласи мир

ученейшему ал-Хайяму.
Смиренно поцелуй перед ним прах Земли, так смиренно,
как тот, кто пользуется дарами мудрости.
Он – мудрец, облака которого
орошают живой водой истлевшие кости.
Он берет из философии о бытии и долженствовании то,
благодаря чему
его доказательства не нуждаются
в дополнительных вопросах.

В бытность мою в Бухаре имам ан-Насави, который был родом из Турана и возвращался из Самарканда в Шираз, по совету судьи Абу Тахира (да пребудет с ним милость Аллаха), у которого он гостил, пожелал встретиться со мной. Забыть нашу встречу я не мог, поскольку счел чудом, подаренным мне Аллахом то, что, как раз в тот момент, когда я был погружен в учение Ибн Сины, передо мной появился его ученик – человек, лично знавший царя ученых. Уже тогда ан-Насави представлялся мне пожилым человеком, а с тех пор, мне казалось, прошла целая вечность, ибо хоть и быстротечно Время, но долгими бывают годы юности человека, и я был очень обрадован, узнав, что он еще жив и здравствует.

За всеми поэтическими иносказаниями его письма я рассмотрел его пожелание, чтобы я высказался по философским вопросам человеческого бытия и нравственного долга в духе тех бесед об истинных взглядах Абу Али, которые мы вели с ним в Бухаре. Я понимал, что это неспроста и что старый лис ан-Насави, всегда внимательно следивший за состоянием умов в землях Аллаха, почувствовал острую необходимость в таком сочинении и в том, чтобы оно исходило именно от меня.

К этому времени работы в обсерватории уже шли по определенному жесткому распорядку, и у меня стало появляться свободное от наблюдений и вычислений время, но время это не оставалось незаполненным. Практическая работа астронома во многом соприкасалась с такой наукой, как геометрия, и я посчитал своим долгом пристальнее вглядеться в ее основы. Постулаты и доказательства Евклида, которые я помнил наизусть и которые были так убедительны, пока речь шла об их реализации на ограниченных идеальных плоскостях, после того, как я, глядя в небо, прикоснулся к бесконечности, стали порождать во мне сомнения. Я стал задумываться о том, какой вид приняло бы учение Евклида, если попытаться применить его к бесконечным поверхностям, да еще обладающим некоторой кривизной. Наибольшие подозрения вызывал у меня, когда я думал об этом,

пятый постулат, потому что я не мог себе четко представить поведение параллельных линий на бесконечной искривленной поверхности и не мог ответить на главный вопрос: сохранится ли их параллельность там, в бесконечном искривленном пространстве, моделью которого была для меня небесная сфера.

Именно об этом я много думал и даже стал делать заметки к некоему теоретическому исследованию трудностей вводной части книги Евклида, где изложены эти постулаты, когда я получил письмо имама ан-Насави, и я сразу же решил отложить геометрию и заняться философией, понимая важность полученного мною заказа.

В своем трактате об основах бытия и нравственного долга я был весьма краток и так стремился поскорее его завершить, что упустил при этом несколько существенных вопросов. Эти упущения я заметил, перечитывая свой личный экземпляр рукописи, после того как «парадный» ее список, оформленный каллиграфом, уже был отправлен имаму. Это потребовало специального дополнения к трактату, которое я посвятил вопросу необходимости присутствия противоречия в нашем мире, определенность и долговечность которого обусловлены присутствием Аллаха, Который все это знает лучше нас, смертных людей. Я не очень интересовался судьбой этих моих философских писаний, но по установившейся по отношению ко мне почтительности ученых богословов, я понял, что имам ан-Насави дал им ход и заставил их работать на мою репутацию и безопасность.

Напряженная работа в обсерватории и с каламом в руках над чистыми листами бумаги в первом десятилетии моего пребывания в Исфахане приковывала к себе все мои духовные силы, и я, расслабляясь в беседах с друзьями, совсем не ощущал своего интимного одиночества. Моя любовь к Туркан укрылась где-то в глубинах моей души и все реже и реже напоминала мне о себе мгновенной глухой болью. В те немногие мгновения, когда я оставался наедине с собой и мой мозг отдыхал на обочине одной из тропинок, ведущих к какой-нибудь конкретной истине, моя освобожденная от рутинных помыслов и усилий душа устремлялась ввысь к Истине всеобщей, к Всевышнему Йезиду – Творцу и Вседержителю всего сущего. В эти мгновения я полностью отдавался сосредоточению и достиг в нем существенных успехов. При этом я убедился в относительности времени: когда я шаг за шагом проходил ступени и уровни сосредоточения, задерживаясь на стоянках41, мне казалось, что я проводил там годы, а когда я возвращался из своих межзвездных странствий в реальный мир, я убеждался, что здесь, на грешной

земле, прошло всего лишь несколько минут.

События же на грешной земле шли своим чередом. К 472 году в моей обсерватории были завершены астрономические таблицы в объеме, достаточном для введения нового календаря, и в 473 году мы торжественно преподнесли Малик-шаху и Низаму ал-Мулку рукопись таблиц и программу календарной реформы, а я к этим подношениям присоединил еще и довольно объемистую рукопись своего геометрического трактата. Султан Малик-шах по достоинству оценил наше усердие: все мои друзья-коллеги и я сам получили богатые дары и пожелания так же успешно продолжить свою работу. Мне же был, кроме того, предложен титул «аш-шайх ар-раис» – «царя ученых», но я отказался, сказав, что я еще не чувствую себя достойным разделить такое звание с величайшим Абу Али Ибн Синой и что я вполне доволен титулом имама «Доказательство Истины», которым я не по своей воле уже награжден ученым сообществом. В ответ султан сказал мне, что для него я все равно останусь царем ныне живущих ученых, и поэтому он, султан, хочет подарить мне шкуру тигра – царя зверей. Султан хлопнул в ладоши, и в зал внесли полосатую шкуру. Тот, кто ее выделал, был великим мастером своего дела. Он сохранил когти зверя и его оскаленную морду, а вместо глаз были вставлены цветные стекла. Эта желтая морда остро напомнила мне о наших с Туркан сладких играх на берегу Аму, и я подумал, не тот ли это тигр, который подсматривал за нами, зевая от скуки. И еще я подумал, не царица ли предложила Малик-шаху наградить меня шкурой царственного зверя?

Часто бывает так, что завершение большой работы как бы опустошает душу того, кто ее выполнил, и освободившиеся уголки души заполняет печаль. У меня было лекарство от тоски – моя тайная способность сосредоточиться и уйти в высшие сферы бытия, недоступные многим из смертных. Но для этого требовалось одиночество, а я возвращался от султана вместе с друзьями, да еще несколько поодаль от нас за нами следовали царские слуги, которые несли дары властителя.

Спутники мои о чем-то шумно говорили, иногда обращаясь ко мне. Я же отделывался общими словами, чтобы не показать, что мысли мои сейчас пребывают далеко отсюда. Полосы тигра напомнили мне дни моего счастья, и я впервые в Исфахане подумал о том, что юность моя закончилась и прошлое невозвратно. Мысли мои вылились в слова, а слова сами по себе сложились в печальные стихи, и я, не удержавшись, тут же прочитал их вслух:

Сегодня я грущу о том, что книга моей юности завершена,

О том, что закончилась ранняя весна моей жизни,
О том, что птица радости, которую звали «молодость»
И которая когда-то незаметно прилетела,
теперь куда-то улетучилась.

Светлая печаль объяла всех от этих моих слов, и дальше мы следовали молча, хотя это молчание говорило о мыслях молчавших больше, чем их речи, если бы они были сказаны.

Завершение основных моих работ высвободило мне много свободного времени, поскольку астрономические наблюдения шли по строгому регламенту и почти не требовали моего участия. Я работал в библиотеке, расположенной в пристрое к дворцу Низама ал-Мулка, где было собрано огромное количество рукописей, свезенных еще Арп-Арсланом из его многочисленных походов. Значительная их часть еще не была разобрана, и я с удовольствием помогал библиотекарю в них разбираться. Некоторые из этих сочинений я брал к себе, чтобы просмотреть и прочитать их в уединении. Однажды мне попался греческий свиток, озаглавленный «Книга Проповедника». Мне и до этого приходилось работать с греческими текстами – я читал Аристотеля, Платона, Евклида, но то были книги, прояснявшие ту или иную научную истину, и Наука во всем своем величии стояла за каждой из них. Здесь же за строками книги стояла Жизнь человеческая со всеми ее радостями и печалями, надеждами и разочарованиями. Кто-то из знающих людей, которым я рассказывал об этой книге, сообщил мне, что она является частью Священного Писания иудеев и христиан. Чтобы проверить эти сведения, я специально пошел в иудейский квартал. Иудейский мулла, они его называют «ребе», подтвердил, что эта книга сопутствует Торе, сказав при этом, что они, иудейские священнослужители, стараются, чтобы ее прочли как можно меньше людей, поскольку она распространяет печаль и безволие. Кроме того, иудей сказал мне, что, по его мнению, книга эта написана господином нашим Сулайманом ибн Даудом, но не все с этим согласны.

Я же, узнав об этом, был с этим согласен. Более того, в моем представлении никто, кроме господина нашего Сулаймана ибн Дауда, да будет доволен Аллах ими обоими, человека, по воле Аллаха побывавшего в несравнимом могуществе и в полном бессилии, в несметном богатстве и в ужасающей бедности, пережившего времена радостных надежд и глубоких разочарований, не мог написать такую книгу.

Книга господина нашего Сулаймана ибн Дауда помогла мне, человеку ученому и потому требующему четких формулировок,

утвердиться в правоте моих, тогда еще не высказанных, воззрений на смысл человеческой жизни и в правильности избранного мною Пути освобождения души. Это только поначалу кажется, что к освобождению души ведет множество дорог. Все это – мираж. В действительности туда ведет одна дорога, и даже не дорога, а узкая тропа, по обе стороны которой располагаются соблазны: власть, богатство, плотские наслаждения, стремление к земной славе. Им сопутствуют зависть и порожденная ею ненависть. Шаг вправо или влево с этой узкой тропы – и тебе уже никогда на нее не вернуться. Другая и, может быть, главная особенность этого Пути состоит в том, что нельзя воспринимать его как обузу, нельзя не испытывать удовлетворения от каждого шага по направлению к цели. Только тот, кто шагает по этой узкой тропе легко, без груза несбывшихся мечтаний, радуясь каждому новому часу и дню своей жизни, как величайшему благу, и равнодушно взирая на мирские соблазны; тот, кто понимает, что всем земным победам, как бы значительны они ни были, и сокрушительным поражениям, в сущности, цена одна, может достигнуть заветной цели – полной свободы у ног Всевышнего Йезида. И клянусь Аллахом, я был на этом Пути.

И все эти мысли, разбуженные удивительной книгой господина нашего Сулаймана ибн Дауда, стали отливаться в стихотворные строки, звучавшие в моей душе.

Эти мои занятия были прерваны однажды приходом курьера великого визиря. Низам ал-Мулк приглашал меня прибыть к нему в тот же вечер для частной беседы. Содержание беседы, последовавшей за обычными приветствиями, было для меня неожиданным. Великий визирь сначала завел речь о прелестях семейной жизни, а потом с предельной откровенностью перешел к моим делам. Он сказал, что моя жизнь в уединении в доме, где одна только мужская прислуга, начинает вызывать подозрения и толки. Он, великий визирь, конечно, в грош не ставит всякую досужую болтовню и затеял этот разговор со мной только потому, что он сам абсолютно уверен в необходимости присутствия женщины в доме.

– Женщина содействует гармонии души и тела, и ты, мой милый Омар, уже достаточно богат, чтобы купить себе красивую девушку, и даже не одну, и наслаждаться ее близостью,- сказал Низам ал-Мулк.

Я и сам уже подумывал об этом, когда у меня среди моих занятий появился досуг. Но к этому времени я уже хорошо знал не только труды, но и жизнеописания моего великого Учителя Абу Али Ибн Сины (да будет им доволен Аллах) и помнил о том, что сокращение его времени пребывания среди живых произошло

из-за отсутствия у него сдержанности и из-за его злоупотребления близостью с женщинами, а умышленное или искусственное сокращение жизни, переданной нам Аллахом во временное пользование, я, как я уже писал, считал величайшим преступлением. Впрочем, я лично был уверен в том, что сумею удержаться от излишеств. В этом меня убеждал мой опыт общения с вином и кальяном: я умел ограничивать и продлевать свои удовольствия, уменьшая их дозы.

Все эти мысли пронеслись в моей голове, пока мы в молчании пили горячий кофе, а затем я сказал, что обязательно последую мудрому совету визиря, а так как у меня нет опыта в деле приобретения невольниц, я обращусь к своему побратиму Хасану Саббаху, который, как известно, повсюду хвастался своей потенцией.

Я заметил, что при имени Саббаха словно тень пробежала по лицу Низама ал-Мулка, и, после паузы. он сообщил мне, что был вынужден отстранить Саббаха от дворцовой службы после целого ряда непростительных проступков и что тот куда-то исчез из Исфахана и, по слухам, в настоящее время сколачивает банду из отщепенцев – низаритов, с именем которых связывают раскол среди исмаилитов. Эту часть разговора я пропустил мимо ушей, поскольку политика меня не интересовала, и сделал лишь один вывод: на невольничий рынок мне придется идти самому.

Отправился я туда в очередной базарный день, и дело оказалось не таким уж трудным. Уже в самом начале торгового ряда я заметил невысокую стройную девушку с глазами, радостно глядевшими на окружающий ее мир. Уже этим одним она отличалась от большинства выставленных на продажу женщин. Продавец сказал, что Саида – так звали мою избранницу – была взята в счет долгов прямо из семьи, находившейся в услужении у богатого купца на севере страны. Торговые дела ее хозяина пошли хуже, и он был вынужден разлучить ее с семьей.

Уже к вечеру того же дня ее голос весело звенел в моем доме: она устраивала в одной из комнат, которая была ей выделена, «женскую половину». Я не вмешивался в эти заботы, предоставив их ей, и с удовольствием вслушивался в едва различимый акцент, ощущавшийся в ее речи и напоминавший мне о незабвенных днях моей бухарской юности. Учитывая, что мои слуги были приходящими и на ночь покидали мой дом, который оставался в нашем с Саидой полном распоряжении, я не входил в ее покои, как это было принято у прочих людей, а она приходила ко мне в комнату, где на нас, сплетавшихся на ковре, безучастно смотрела оскалившаяся желтая морда туранского тигра.

Саида была такой же юной, как и царевна Туркан времен

наших встреч, и напоминала мне ее своей неутомимостью в любви. Временами мне казалось, что я держу в своих руках царицу Туркан,- таким же безудержным был покрывавший меня водопад ласк и поцелуев. Я, как и там, на берегу Аму, был более сдержан, и мои ласки и проявления моей страсти Саида ценила превыше всего, что для меня было ново, так как царевна Туркан, как мне казалось, и вовсе меня не замечала – я в ее руках был сладкой игрушкой, доставлявшей ей неисчерпаемые удовольствия. Только запах Саиды был другим, приятным, но другим, не тем, который мне хотелось ощутить. Тот запах – запах юной Туркан – был, вероятно, запахом моей юности, и он навсегда остался там, где расцвела наша любовь. Признав необратимость времени, я даже теперь, прочитав великую книгу господина нашего Сулаймана ибн-Дауда, не мог принять необратимость счастья и смириться с этой утратой. Может быть, я ожидал, что мне еще когда-нибудь вернет мою радость воспетый Рудаки ветер Мульяна, преодолев горы и пустыни, отделяющие меня сегодня от тихой камышовой заводи на границе Мавераннахра?

В таком относительном покое прошли еще несколько лет моей жизни.

Я очень долго учился ценить мгновения, а в Саиду это понимание, казалось, было заложено Творцом, и я любовался ею, переполнявшей ее радостью жизни. Я ее почти любил. Во всяком случае, в моем сердце она заняла один из пустовавших до ее появления уголков. Впрочем, я никогда не наблюдал за ней тайком. Может быть, я просто боялся увидеть ее наедине с собой; боялся того, что, оставаясь одна, она сбрасывает свой приветливый и радостный облик, как ненужную одежду, и остается такой, какой ее не знает никто, и в том числе я, ласкающий ее и ласкаемый ею.

И все-таки мне пришлось увидеть ее печаль: однажды в мои ворота постучался измученный долгой дорогой путник, который сообщил, что он прибыл с караваном из Хамадана и что его просили сообщить Саиде о том, что ее мать и отец при смерти. Саида почернела от этой вести, и я подумал о том, что передо мной не наложница, а человек, нуждающийся в помощи. Я же к тому времени уже более десяти лет безвыездно жил в Исфахане, и мне захотелось вновь подышать горячим ветром пустынь и повидать красоты незнакомых мест. В Хамадане же мне хотелось побывать на могиле Учителя, потому что не было в целом мире до сих пор более важного для меня человека.

Когда я объявил Саиде о предстоящей поездке, в ее безжизненных глазах снова загорелся огонек. И через несколько

дней мы с ней и с одним из моих слуг уже двигались к северу в составе большого каравана. Наши с Саидой верблюды шли рядом, и я время от времени ловил ее благодарный взгляд.

Ее отца и мать мы застали в живых, но отец умер на следующий день после нашего приезда, а мать уже заметно шла на поправку. С ними мы нашли одного из сыновей их хозяина, который ухаживал за ними, как за близкой родней. От моего взора не укрылись взгляды, которыми обменялись Саида и Махмуд – так звали хозяйского сына. Я ощутил в них любовь, усиленную разлукой.

Мне пришлось исполнить некоторые обязанности врача, хоть я, в отличие от Учителя, не любил медицины. Я пощупал лоб больной, посчитал пульс и пришел к выводу, что состояние ее удовлетворительное и будет непременно улучшаться. Когда я это говорил, Саида и Махмуд стояли рядом, и я увидел, что они – великолепная пара. Я подумал, что, если через день-два мы с Саидой покинем Хамадан, и на этот раз, возможно, навсегда, во взгляде Саиды, даже охваченной любовной страстью, я буду всегда видеть отражение Махмуда.

На следующий день я посетил могилу Учителя и долго советовался с ним обо всем, к чему была небезразлична моя душа, и, конечно, о Саиде. И я получил ответы. Один из них я вечером сообщил Саиде: я освобождал ее, награждал за годы, проведенные со мной, и оставлял ее здесь, чтобы она могла помочь матери вернуть здоровье и прожить возле нее отведенные ей Аллахом дни. О Махмуде не было сказано ни слова, но в глазах Саиды я прочитал и эту надежду, хотя мне казалось до этого, что она не подвержена таким бесполезным чарам. Что ж, я сам однажды сказал о том, что научить добру людей свободных – прекраснее, чем волю дать рабам. Свой поступок я посчитал для Саиды уроком добра.

Итак, в Исфахан я уже возвращался один, пристав к небольшому каравану, в планах которого была остановка в небольшом городке Нехавенде. Это было симпатичное селение, но у меня с первых же минут пребывания в нем возникло ощущение присутствия какой-то опасной тайны. В речах людей была двусмысленность, фразы не договаривались до конца, но постоялый двор был достаточно благоустроенным, а прислуга – внимательной, и мое беспокойство улеглось. Отход каравана был назначен на полдень следующего дня, и я, встав на рассвете, решил побродить по окрестностям городка. Однако когда я вышел на его окраину, меня взял в кольцо отряд незнакомых людей, мне подвели лошадь и очень вежливо попросили следовать вместе с ними в том направлении, которое мне будет указано. Наш поход

продолжался целый день, и я был вконец измучен этой верховой ездой, от которой я давно отвык. Мы остановились на ночлег в предгорьях в местности, напоминавшей военный лагерь, охранявшийся несколькими группами молодых всадников. На мои обращения и к ним, и к моим спутникам следовали почтительно-уклончивые односложные ответы, а поутру наш отряд опять тронулся в путь.

В дороге я размышлял о том, что ходившие в последнее время в столице слухи о существовании в царстве Малик-шаха неких бандитских групп, контролировавших целые территории, как я мог теперь судить, имели вполне реальные основания. Однако я был спокоен: я не считал себя бессмертным и твердо знал, что сроки моей жизни определяет Аллах, да и обращение со мной было, как я уже сказал, весьма уважительным. Единственным, вызывавшим мое недоумение, был вопрос: зачем бандитам нужен ученый? Разве что им потребовался гороскоп. Но, на мой взгляд, им и без всякого гороскопа должно было быть ясно, что их ожидает гибель.

Дорога становилась круче, и наконец мы въехали в ворота крепости, стены которой местами соприкасались с отвесными скалами, уходящими ввысь, а местами располагались над обрывом. Мне помогли слезть с коня. Затем меня проводили в богато убранную комнату, где на низком столике стояли фрукты, шербет, вино в кувшинах и халва. Я так увлекся созерцанием горной страны, вид на которую открывался из единственного окна в этой комнате, что не заметил и не услышал, как в одной из стен бесшумно открылась потайная дверь и оттуда вышел, пригнувшись, высокий человек.

– Ну, здравствуй, брат мой! – раздался его голос, показавшийся мне очень громким в царившей здесь тишине.

И я с удивлением узнал в подходившем ко мне субъекте в одежде хаджи42 и шейха-ученого – в зеленом халате и огромной чалме – своего соученика по медресе в Нишапуре Хасана Саббаха. Особенно поразило меня его одеяние, я-то хорошо знал, что из всего Корана он за несколько лет ученичества сумел запомнить только Фатиху43, да и ее не мог произнести с первого раза.

– Мир и благословение Аллаха тебе, Хасан! Но почему ты носишь не свою одежду? Ведь сколько я тебя знаю, ты был воином, а не ученым-шейхом! – спокойно спросил я.

– Тем боям, которые веду сейчас я, более приличествует именно эта одежда. Я ведь сражаюсь за то, чтобы за мной, вняв уговорам или от страха, пошли люди, много людей! – ответил Хасан и добавил: – Идем, я тебе кое-что покажу!

Мы вышли во двор крепости. За площадкой, по которой

ходили оседланные и неоседланные кони, Хасан жестом показал, что мы должны пройти дальше – туда, где за ажурной оградой виднелась зелень сада. Сад этот меня поразил, и моя услужливая память вынесла на поверхность мысли поэтические строки Корана, и я стал произносить их тихим голосом:

А тому, кто боится сана Господа своего,- два сада,
Обладающие ветвями.
В них два источника протекают.
В них – из всяких плодов два сорта.
Опираясь на ложа, подкладка которых из
Парчи, а сорвать плоды в обоих садах – близко.
Там скромноокие, которых не коснулся до них
ни человек, ни джинн.
Они – точно яхонт и жемчуг.
Есть ли воздаяние за добро, кроме добра?

Я тщетно ждал, что Хасан, устроивший здесь довольно точное подобие джанны, произнесет аят44 55-й суры, именуемый «Рахман», повторяющийся после каждой из произнесенных мною строк: «Какое же из благодеяний Господа вашего вы сочтете ложным?» Я специально делал долгую паузу после каждой строки, но мой названый брат слушал речь Аллаха молча. Отсюда я сделал два вывода: первый,- что Хасан так и не выучил Коран, и второй,- что за всем этим театром стоит кто-то другой – хитрый, умный и знающий все тонкости описания райского сада, в какой бы суре Корана они не содержались, а мой брат Хасан – всего лишь игрушка в чьих-то руках, игрушка, переполненная ненавистью к людям вообще и к Низаму ал-Мулку в особенности.

Рай имени Хасана Саббаха был невелик, но тот, кто разбивал этот сад, стремился к тому, чтобы в нем было все, о чем говорилось в Коране. Здесь были несколько небольших прудов. Сад пересекали два ручья. На их берегах в тени деревьев были устроены лежанки, покрытые расшитыми покрывалами и атласными подушками. От ручьев и водоемов веяло прохладой. На этих коврах и покрывалах возлежали молодые люди и красивые нездешние девушки, вероятно румийки, а очаровательные, роскошно одетые мальчишки обносили эти компании кувшинами с каким-то питьем. Звуки падающих струй привели нас в ту часть сада, которая находилась на верхней террасе. Она была меньше нижней, но столь же красивой. И здесь у ручья отдыхало несколько молодых людей. Один край верхней террасы выходил к обрыву. Я остановился там, любуясь красотой гор. Хасан подозвал к нам одного из пировавших у ручья. Это был

красивый юноша, почти мальчик. Что-то в его лице было для меня необычным. Посмотрев внимательнее, я заметил его странные глаза – зрачки его были расширены так, что обода почти не было. «Гашиш!» – догадался я, и эта догадка сразу же объяснила мне сущность необычного сладковатого запаха, который к нам иногда приносил ласковый ветерок.

Юноша смотрел на Хасана, как собака, готовая выполнить все, что прикажет ей хозяин.

– Пойди полетай, мой милый, а потом вернешься в джанну,- спокойно сказал ему Хасан.

И юноша немедленно шагнул с обрыва.

Сердце мое глухо ударилось в грудь, и я на некоторое время утратил дар речи, а Хасан насмешливо смотрел на меня.

– Так любой из них,- он широким жестом обвел сад,- пойдет на смерть и умрет, но выполнит то, что я ему прикажу!

– Мало того, что ты, нарушая волю Аллаха, отнимаешь у них Его великий дар, даваемый Им человеку лишь однажды, ты учишь их отнимать жизнь у других, растишь убийц,- сказал я.

– Я воюю с неверными, с отступниками, и эти дела угодны Аллаху,- ответил Хасан.

– Опять я, как когда-то в нишапурской школе, должен напоминать тебе слова Аллаха,- сказал я и прочитал ему аят, который должен знать каждый мусульманин: – «Сражайтесь на пути Аллаха с теми, кто сражается с вами, но не нападайте,- поистине Аллах не любит нападающих!»45

– А ты ведь нападаешь,- продолжил я после паузы,- и Аллах найдет тебя или твоих потомков.

– Я не чувствую на себе гнева Аллаха. Ты же видишь, что все наши начинания удачны. Я ушел из Исфахана с пятью бойцами, а теперь у меня государство с пока еще невидимыми границами, и ты находишься в столице этого процветающего государства – в моем «Орлином гнезде». Более того, Аллах предоставил нам возможность управлять ходом событий. Мне достаточно послать одного-двух молодцев из тех, кого ты видишь в этом райском саду, и они отдадут свои жизни, но прихватят с собой на тот свет тех, кто мне мешает или мне не нравится. Переходи ко мне, брат, и ты будешь иметь все, что пожелаешь!

– Зачем я тебе, и что делать ученому среди убийц? – спросил я.

– Любое государство убивает, завоевывая чужие земли или усмиряя свои народы, но ученые украшают эти государства и стремятся быть поближе к трону,- ответил Хасан и добавил: – А здесь ты сам будешь на троне, никому не угождая, а твое имя, уже известное многим, будет украшать наше дело.

На это я ответил ему, что меня не тяготят мои отношения с такими благородными людьми, как Малик-шах и Низам ал-Мулк, и что упомянутой им, Хасаном, известностью моего имени я во многом обязан этим своим высоким друзьям. И еще я сказал Хасану, что я твердо уверен, что творящих злое ждет возмездие Аллаха, а в каком поколении оно настигнет их, это известно одному только Аллаху. Слушая меня, Хасан иронически улыбался.

– От поколения к поколению мы будем становиться сильнее, и могущество наше будет беспредельным,- сказал он.

– Аллах знает лучше! – сказал я, чтобы завершить этот бесплодный спор46.

Хасан огладил бороду, давая этим понять, что эта часть беседы завершена. Мы вернулись в зал и приступили к трапезе. Наш дальнейший разговор касался лишь воспоминаний о школьных годах, о наших детских веселых проделках, об учителях. Веселый пир двух давних друзей, и ничего больше.

На другой день я опять в сопровождении небольшого вооруженного отряда тронулся в путь. Мои спутники были со мной до Нехавенда, где я был определен на постой к людям, по-видимому связанным, как и почти все в этом городке, с Хасаном Саббахом. Со мной они были весьма почтительны и вскоре сообщили, что сюда прибыл караван, следующий в Исфахан. С ним я и продолжил свой путь.

По возвращении в Исфахан я буквально в тот же день запросился на прием к Низаму ал-Мулку, но принят был только через неделю. Я рассказал великому визирю о своих приключениях и выразил свою тревогу по поводу ущерба, который могут нанести вооруженные и одурманенные банджем47 низариты. О своем кровном побратимстве с Хасаном я умолчал, памятуя слова Пророка (да благословит его Аллах и да приветствует) о том, что умение хранить тайны есть качество праведных48. Визирь, выслушав меня, сказал, что ему о деятельности низаритов известно все, поскольку в их лагере есть его лазутчики, и что, по его мнению, опасности для государства эти бандиты не представляют, а, наоборот, их мелкие бесчинства еще более убеждают население царства в необходимости сильной центральной власти. На этом аудиенция закончилась, хотя хитроумные соображения великого визиря были мне непонятны. И поэтому меня, откровенно говоря, уверенность Низама ал-Мулка не успокоила. Предчувствия беды сохранились в моем сердце. Но у меня после этой поездки на север страны появились другие заботы: без Саиды мой дом опустел, а я за то время, пока она была со мной, привык к тому, что под моей крышей звучит

женский голосок. И я решил приобрести для себя новую невольницу, дав зарок не привязываться к ней сердцем, как к Саиде.

В ближайший торговый день я в сопровождении слуги отправился на невольничий рынок. Там меня сразу же поразила красота одной из невольниц. Она была высокой, почти с меня ростом, и дешевый изар49 не только не скрывал прелесть и совершенство ее тела, но и подчеркивал красоту ее высокой груди и стройного стана. Я вступил в торг, но не смог выдержать соревнование с богатым купцом. Мы уже оставались вдвоем среди набавляющих, и он в конце концов назвал такую цену, которую я не смог перебить. Я был очень расстроен и, чтобы успокоиться, закрыл глаза и хотел достичь хоть на мгновение высших ступеней сосредоточения, покинув окружавший меня суетный мир. Однако, к своему собственному удивлению, я вместо обычных своих медитационных формул вознес к Всевышнему Йезиду страстную молитву – желание, чтобы эта красавица была рядом со мной.

Когда я вернулся в этот мир и пришел в себя, я увидел, что в нем что-то произошло. Стоял какой-то непонятный мне крик, люди вокруг меня бегали туда-сюда, на рынке царила какая-то паника. И вскоре я узнал ее причину: старого купца, чересчур возбужденного торгом, то и дело выскакивавшего из-под навеса на солнцепек, хватил удар. Протолкавшись через толпу, я, посмотрев на его посиневшее лицо и белки закатившихся глаз, понял, что Йезид призвал его к себе и, скорее всего, отправит в джаханнам50, ибо у людей его профессии всегда найдется для этого достаточное количество грехов. Потом я взглянул на невольницу – ее звали Анис – и заметил радость в ее глазах. Я расплатился с работорговцем и подошел к ней, а она протянула мне руку, чтобы я отвел ее в свой дом. Я повел ее рядом с собой, ощущая незнакомый мне аромат исходивших от нее благовоний, и думал о том, что моему сердцу, видимо, так и не суждено быть свободным, ибо все происшедшее на невольничьем рынке я воспринял как Знак Всевышнего.

Уже через день мне стало казаться, что Анис жила в моем доме с незапамятных времен. Она была восхитительна и днем и ночью. С ней я впервые ощутил прелесть длинных ног и узнал о существовании ранее неведомых мне разных путей к наслаждению. И дни мои проходили в работе, в ученых раздумьях и беседах, а главное – в сладком ожидании ночей. Я не бывал во дворце и забыл о гашишном рае Хасана – истинный рай, подаренный мне Всевышним Йезидом в виде Анис, вытеснил воспоминания о жалких подделках.

Вскоре, однако, земные дела постучались в мои райские

врата: кто-то из моих коллег в нашей обычной беседе вдруг обмолвился о том, что Низам ал-Мулк собирается в путешествие по северным провинциям, чтобы на месте ознакомиться с положением дел и открыть новые медресе в Хамадане, Тебризе и Казвине. Поскольку его путь непременно лежал через Нехавенд – место, где я испытал незримое присутствие несчастья, где я был похищен и куда был возвращен Хасаном Саббахом, я был не на шутку встревожен.

Я, без предварительного извещения и приглашения, отправился на прием к великому визирю и был им принят без промедления. На этой нашей последней встрече я умолял его усилить конвой и ни на час не задерживаться в Нехавенде, который, по моему мнению, находился под полным контролем низаритов. В ответ Низам ал-Мулк сказал мне:

– О, досточтимый Омар! Если великий визирь должен чего-то бояться в своей собственной стране, то это означает, что его дело проиграно и того всемогущего государства, которое он оберегал и растил, более не существует. А если это так, то зачем мне моя бесполезная жизнь?

В этих его последних обращенных ко мне словах, несмотря на их горечь, была уверенность в небесполезности его трудов. Но у меня этой уверенности не было, и, после его отъезда, я каждый день ожидал плохих вестей. И они пришли из того самого Нехавенда, об опасности которого я говорил визирю. Его вера в благоразумие людей оказалась чрезмерной. Великий Низам ал-Мулк был убит каким-то ничтожеством, и, когда тело убийцы терзала рассвирепевшая стража, глаза этого юноши, с расширенными до предела от гашиша зрачками, вероятно, видели джанну, ее густые кусты и деревья, растущие на земле, щедро удобренной навозом слугами Хасана Саббаха.

Исфахан без Низама ал-Мулка

Я с болью в сердце воспринял утрату Низама ал-Мулка. Но и охваченный совершенно искренней печалью, я не мог не думать о судьбе моей обсерватории. И кроме того, где-то в глубине моей души скрывалась тревога о том, что будет со мной и как сложится моя жизнь, если обсерватория будет закрыта. Я стыдился этих своих мыслей и прогонял их, но они неизменно появлялись снова. Я, конечно, понимал, что моя обсерватория существует исключительно по воле Малик-шаха, но Низам ал-Мулк был именно тем человеком, который, имея в любое время доступ к властителю, докладывал ему о наших успехах и нуждах, обеспечивал регулярную выплату нашего жалованья и приобретение необходимого оборудования и материалов. Появится ли у ног царя наш новый постоянный опекун и защитник – вопрос, мучивший меня в эти скорбные дни.

Через несколько дней Малик-шах пригласил меня во дворец, и я увидел совершенно другого человека: тридцатисемилетний царь выглядел стариком с потухшим взором. Я знал, по слухам, что в его окружении уже несколько лет шла борьба за его наследство. У него было пять сыновей от разных жен. Низам ал-Мулк, следуя древней традиции, считал, что право престолонаследия принадлежит старшему сыну, а его младшие братья могут сменить его на троне опять-таки по старшинству, и только в том случае, если на момент его смерти у него, в свою очередь, не будет взрослого сына. С этим была не согласна Туркан-хатун, которую Малик-шах очень любил. Ее сын Насир ад-Дин Махмуд был самым младшим, и она сразу же после его рождения начала борьбу за его первенство, но ее действия всячески сдерживал авторитет великого визиря.

Я полагал, что теперь, когда Низама ал-Мулка не стало, все склочные дела обрушились на плечи Малик-шаха и ноша эта оказалась для него слишком тяжела. Впрочем, ко мне он был по-прежнему милостив, но он был не расположен к долгим беседам и отпустил меня, сказав, что его планы в отношении обсерватории не изменились, и казначей по его приказу сразу же выдал мне очередное содержание.

Заканчивая беседу, он произнес слова «пока я жив», и меня опять, как некоторое время назад в Нехавенде, охватили тяжкие предчувствия. Уже полтора месяца спустя я смог убедиться в их обоснованности: глашатаи вдруг объявили в городе о внезапной смерти Малик-шаха от тяжелой болезни. Я был удивлен этим известием, поскольку сам я числился одним из дворцовых врачей,

так как всем было известно о том, что я знаю наизусть в числе прочих и медицинские труды Ибн Сины. Я же сам не любил врачевания и охотно уступал инициативу в этом деле своим более проворным коллегам по дворцовому консилиуму.

Теперь же то обстоятельство, что меня даже не позвали во дворец, как только занемог султан, вызвало у меня серьезные подозрения, и я сам отправился в покои государя. Там шли поспешные приготовления к похоронам. Врачи подвели меня к телу Малик-шаха, сообщив, что он умер два часа назад. Лицо султана было спокойным и умиротворенным, как это часто бывает у покойников. Лишь два обстоятельства поразили меня: его кожа потемнела, а в уголках рта я заметил капельки белой пены. Один из врачей сразу же вытер лоскутом материи губы султана. Но пока мы разговаривали, я увидел, что пена выступила снова. Я сразу же подумал об отравлении, но не высказал вслух своих предположений, так как не мог исключить, что отравители, или один из них, находятся рядом со мной. Никакого расследования я, конечно, провести не мог, и все это осталось в моей памяти на уровне предположений. Да и, откровенно говоря, мне тогда постоянно приходилось прогонять мысли о том, что к смерти Малик-шаха могла быть причастна и моя Туркан. «Ищи, кому выгодно» – эту фразу я прочитал когда-то в переводе одной западной рукописи, и это правило запомнилось мне своей простотой и ясностью. Единственное, что я почувствовал четко и определенно, так это то, что моей обсерватории пришел конец.

Возвратившись из дворца, я собрал всех своих друзей и соратников по звездным делам и устроил небольшой пир в укромном месте на берегу Заендеруда, где мы уже не раз отдыхали прежде от напряженных трудов, и я обрисовал им складывающуюся ситуацию. Я говорил о том, что звездный этап нашей жизни, скорее всего, уже завершился и что последняя субсидия Малик-шаха дает нам возможность без крайней спешки подыскать себе преподавательские места во многочисленных медресе, открытых по всей стране покойным Низамом ал-Мулком, и изменить свою жизнь.

Ал-Васити предложил всем вместе помолиться Аллаху, чтобы Он продлил жизнь обсерватории.

– Уж не невежественного ли муллу Абд ар-Рахмана из нашей мечети ты хочешь попросить походатайствовать за нас перед Аллахом? – смеясь, спросил Исфазари.

Все дружно рассмеялись, а я сказал, что сам я общаюсь с Аллахом без посредников, следуя заветам суфиев, с помощью которых я появился на свет. Кто-то сказал, что это противоречит законам, на что я поведал друзьям хорасанскую суфийскую

притчу, которую я помнил с детства, о том, как некто, преданный Аллаху всей душой, остановившись, чтобы переждать дождь в попавшихся ему по пути руинах, оставил своего осла в поле, попросив Аллаха, чтобы Он за ним присмотрел, пока тот будет пастись. После этого он заснул и проснулся перед рассветом, когда прекратился шум дождя. Решив продолжить путь, он вышел в степь, но осла своего не увидел. Потратив на бесплодные поиски целый час, он поднял лицо к небу и стал укорять Аллаха за то, что Тот не выполнил его единственную просьбу – постеречь осла, необходимого ему, чтобы добраться до святых мест и там вознести свою молитву Всевышнему. Так он ворчал, бегая по степи в поисках осла, и тут сверкнула молния, и в ее свете он увидел свою пропажу: осел спокойно щипал траву неподалеку от хозяина, не увидевшего его в предрассветной тьме. Этим Знаком Аллах дал знать, что просьба верующего была Им услышана.

Я рассказывал это вроде бы в шутку, поскольку мои друзья не были посвящены в тайны суфийского знания, и поэтому они опять дружно рассмеялись, предложив мне испросить Знак Всевышнего, по которому можно было бы судить о судьбе, ожидающей обсерваторию.

В это время неожиданный порыв ветра накрыл нашу стоянку и опрокинул кувшин и чаши с вином, стоявшие на скатерти, расстеленной прямо на траве.

– Сейчас я обращусь к Всевышнему по другому поводу! – сказал я, чтобы увести нашу беседу подальше от серьезных тем и чтобы мы могли отдохнуть в преддверии не вполне радужного будущего.

Я на минуту задумался и произнес экспромт:

Зачем разбил Ты мой кувшин с вином, Господь!
Зачем путь к наслаждению закрыл ты мне, Господь?
Ведь это Ты разлил мое пурпурное вино!
Так уж не Ты ль сегодня пьян, Господь?

Не успела отзвучать последняя строка этого четверостишия, как я вдруг почувствовал сильное головокружение, и, чтобы не упасть, я уперся обеими руками в землю и тут же ощутил, как капли пота выступили у меня на лбу и побежали по моему лицу. Видимо, облик мой изменился, потому что я увидел испуганные глаза моих друзей, а двое из них стали придвигаться ко мне. (Потом они рассказывали, что я почернел.) Преодолевая слабость, я оторвал правую руку от земли и поднял ее, чтобы их остановить и успокоить, и тут я увидел в своем воображении еще одно четверостишие, начертанное искусной вязью. Мне оставалось

только прочитать его вслух, что я и сделал:

Кто в мире не грешил? – Скажи, Господь!
Попробуй разыскать безгрешного, Господь!
Я зло творю, Ты злом мне воздаешь,
Так в чем различны мы? – Скажи, Господь!

Пока я читал этот стих, ко мне постепенно возвращались силы, и вскоре все забыли об этом происшествии. Только не я. Когда наш обед завершился и я вернулся домой, я попытался проанализировать, что со мной произошло там, на берегу Заендеруда. Учитель сказал бы, что это из меня выходила усталость, накопившаяся за все эти тревожные дни с момента получения известия о гибели Низама ал-Мулка или даже с момента его отъезда, так как я уже тогда остро предчувствовал беду. Может быть, в этом Ибн Сина был бы и прав: у меня за плечами было сорок четыре года нелегкой жизни, и я сам тогда не верил, что сумею дожить до шестидесяти. Молодость осталась далеко позади, и, возможно, моя ноша на несколько мгновений вдруг стала мне не по силам.

Все эти рациональные соображения меня, однако, не убеждали. Я внутренне был почти уверен, что мне выпало высшее счастье суфия – мне был подан Знак Всевышним, услышавшим мои дерзкие слова. Я был прощен и предупрежден, и мне оставалось лишь открыть для себя истинный смысл этого Предупреждения.

Пользуясь своим правом врача царских детей, я стал время от времени бывать во дворце, и приводила меня туда не любовь к медицине, а желание узнать новости и понять, как будут дальше развиваться события. Бывал я там с неохотой, потому что с уходом из жизни Низама ал-Мулка и Малик-шаха (да пребудет милость Аллаха с ними обоими) дворец как-то потускнел и стал неуютным.

Происходящее же там не радовало меня. Малик-шах, как я уже писал, оставил пятерых сыновей – Рухи ад-Дина Барк-Йарука, Гийаса ад-Дина Мухаммада, Муйиза ад-Дина Малик-шаха, Муйиза ад-Дина Санджара и Насира ад-Дина Махмуда. Матерью последнего царевича, только что вышедшего из младенческого возраста, была Туркан-хатун. Влияние семьи Низама ал-Мулка до последних дней жизни Малик-шаха было еще весьма велико, и сын великого визиря Муайид ал-Мулк сразу же занял место отца. Но внезапная смерть Малик-шаха внесла смятение в ряды партии Муайида, которым воспользовалась Туркан-хатун и, опираясь на главу дворцовой стражи и военачальника Аййуба ал-Казвини, она

захватила власть, объявив султаном своего малолетку – Махмуда, а себя – регентом. Расправиться с остальными детьми Малик-шаха она не посмела, и представлявший особую опасность старший сын покойного султана Барк-Йарук вместе с поддерживавшим его Муайидом ал-Мулком были удалены от государственных дел.

Впрочем, когда Исфахан посетил властитель Египта и было необходимо продемонстрировать отсутствие внутренних распрей в государстве сельджуков, на торжественный прием в тронный зал дворца султана был приглашен весь двор. Присутствовал там и я, как глава ученых. Поскольку малолетнего султана сразу же отправили спать, прием вела сама Туркан-хатун, и я втайне любовался ее неувядшей красотой, ее уверенностью и достоинством, с которыми она руководила этим торжеством. Почетные заморские гости, как я видел, тоже были очарованы ею. А перед моим внутренним взором то появлялась, то исчезала обнаженная дерзкая девчонка, бесстыдно раскинувшаяся на моем халате, брошенном на зеленую траву. Нет, сейчас передо мной была не девчонка. Это была царица-красавица, волею Аллаха вознесенная высоко над людьми и, казалось, легко несущая бремя власти.

Вернувшись домой, я долго не мог заснуть от впечатлений и воспоминаний и не успокоился, пока не написал стихи, зная, что я никогда и никому их не прочту. В них я обращался к безымянной красавице с лицом, нежным, как жасмин, затмевающей своей прелестью всех женщин от Китая до Магриба и одним только своим взглядом покоряющей чужеземных властителей. Анис в эту ночь не дождалась меня, потому что мысли мои были с другой.

Когда идет передел власти, люди перестают интересоваться состоянием наук. Да и тот, в чьих руках эта власть оказалась, особенно если она, эта власть, незаконна, чувствует себя временщиком, и все мысли и усилия такой личности направлены на то, чтобы удержать и узаконить свою власть.

Весь чиновничий аппарат, работавший при Низаме ал-Мулке с точностью часов, сейчас погряз в пустой суете, создавая видимость какой-то деятельности, и, когда я, после двухмесячной задержки выплаты из казны на содержание обсерватории, пришел в диван, меня стали гонять по кругу, как мячик, как мальчишку. Я оскорбился и ушел.

На другой день я, вспомнив о своих обязанностях придворного врача, отправился во дворец султана, втайне надеясь найти там хоть какое-нибудь влиятельное лицо, способное оказать мне помощь в моих хлопотах об обсерватории. Но такого

лица не оказалось. Некоторые шепотом давали мне совет обратиться к ал-Казвини, который, по их словам, фактически управляет государством. Я несколько раз сталкивался с этим напыщенным ослом еще у Низама ал-Мулка, и он тогда поразил меня своим невежеством и самоуверенностью. Унизить себя просительным разговором с таким ничтожеством я бы, пожалуй, не смог, но пока вопрос об этом и не стоял, поскольку, по дворцовым слухам, он отбыл на несколько дней на восточную границу царства, где, судя по донесениям, было неспокойно.

Когда я шел в почти безлюдной части дворца, где были покои Малик-шаха и где еще совсем недавно кипела жизнь, я остановился, погруженный в воспоминания. Из оцепенения меня вывело легкое прикосновение к рукаву моего халата. Я оглянулся и увидел перед собой женщину с закрытым лицом.

– Иди за мной, мой господин! – сказала она и пошла впереди меня.

Вскоре мы свернули в боковой коридор, в котором я раньше никогда не бывал, и я понял, что меня ведут на женскую половину дворца. Моя проводница остановилась у маленькой незаметной двери в стене коридора и открыла ее передо мной, пригласив меня войти внутрь. Сама она осталась в коридоре, и я даже не заметил, как дверь за мной тихо закрылась. Я очутился в небольшой, нарядно убранной комнате без дневного света. Однако в нее откуда-то поступал свежий благоуханный воздух. Запах был так силен и естественен, что мне показалось, будто я нахожусь на краю цветущего розового сада и легкий ветерок обволакивает меня ароматом этих несравненных цветов. Небольшие изящные светильники, установленные по углам этой комнаты, освещали ее мягким, слегка колеблющимся светом.

– Я здесь, Омар,- услышал я тихие слова у себя за спиной.

Этот голос, напомнивший мне о минутах счастья, пережитых далеко отсюда – на берегах Аму, заставил сильно биться мое сердце, и, оглянувшись на его чарующие звуки, я увидел совсем не по-царски одетую Туркан; вероятно, она в одной тонкой венецианской рубашке неслышно проскользнула сюда через какой-нибудь невидимый вход, укрытый ковровым пологом.

Больше она ничего не сказала и лишь раскрыла передо мной свои объятия.

Все то, что последовало, я не смог бы до этого волшебного дня вообразить даже в своих самых смелых мечтах. Для этого у меня просто не хватило бы опыта и слов. Дело в том, что я в своей жизни до сих пор был близок только с юными девушками и не подозревал, каким неиссякаемым источником наслаждения может служить зрелое женское тело. И я сплошь покрывал его

поцелуями, не оставляя ни одного свободного места. И еще одна неожиданность подстерегала меня: я привык к относительно робким и осторожным ласкам моих малолетних красавиц, включая и саму царевну Туркан там, на берегу Аму, где проходили мои первые уроки любви. Теперь рядом со мной была женщина, беспредельно отважная в любви, и ее губы и нежный язычок без устали терзали мое тело, не признавая разумных границ, и эти терзания заставляли мою душу сжиматься от наслаждения и от страха сорваться в бездну, к краю которой мы то и дело подходили.

А потом мы в полном изнеможении лежали плечом к плечу у блюда с прохладным янтарным виноградом, пытаясь соком его гроздий восстановить свои силы.

Я шел домой, пошатываясь то ли от усталости, то ли от счастья, желая лишь одного – поскорее уединиться в своей комнате, запретив себя тревожить по какому бы то ни было поводу. В конце концов, как я тогда думал, все самое плохое уже произошло и в мире более не существует вести, ради которой мне стоило бы отвлечься от своих сладких мыслей.

Господин наш Сулайман ибн-Дауд (мир и благословение Аллаха с ними обоими) когда-то сказал, что дарованная ему Аллахом мудрость тоже имеет свои пределы, и в качестве этих границ он назвал недоступную ему способность определить три вещи: след птицы в воздухе, след рыбы в море и след мужчины в женщине. И когда я лежал в своей комнате без сна, вглядываясь в своем воображении в прелесть недавно мною пережитого, я вдруг почувствовал, что Аллах Великий разрешил мне силой той мудрости, которую Он подарил мне, переходить ранее Им же установленный предел: в картинах, возникавших перед моим внутренним взором, я почему-то ощущал присутствие мужчины и даже не одного.

Я не смог освободиться от этого впечатления и на нашем втором и последнем интимном свидании. Тем более что в те три недели, которые разделили эти две наши тайные встречи, до меня дошло немало слухов, связывавших имя Туркан-хатун не только с ал-Казвини, но и еще с двумя военачальниками. Сколько в этих слухах было правды и сколько вымысла, мне было трудно судить, но мне казалось, что имена тех, с кем я делю Туркан-хатун, я прочел в ее прекрасных, горящих огнем истинной страсти глазах. Туркан своим женским чутьем почувствовала возникшую в наших отношениях преграду – я видел это по нашему грустному расставанию в тот вечер.

Эту грусть я тогда принес с собой домой, и рука моя сама потянулась к каламу.

Хлеб свежий поедает неуч сытый,
Живет в богатстве вор из царской свиты.
Моей Туркан прекрасные глаза
Для подлецов из гвардии открыты.

Так написал я сам себе на память о своей утраченной любви.

Постепенно жизнь моя вошла в какую-то приемлемую для меня колею. Снова со мной была моя Анис. После жарких ночей с Туркан я стал к ней относиться нежнее, и она, чувствуя это, платила мне щедрой ответной лаской. Друзья мои тоже уединились в своих жилищах, и мы почти не встречались. Все мы были в ожидании, предоставив Аллаху решить судьбу обсерватории. Мной овладела апатия, и калам выпадал у меня из рук. Ничего, кроме нескольких грустных четверостиший о бренности уходящей жизни, я так и не записал тогда в свою заветную тетрадь. Мое время остановилось, хотя где-то рядом проходили годы.

И так продолжалось до тех пор, пока однажды мое унылое счастье не было нарушено посыльным с приказом мне немедленно явиться в царский дворец. Я был тогда вдали от дворцовых интриг и новостей и, пока собирался в путь, ломал голову над предположениями о том, что там могло произойти. Отбрасывая невозможное, я пришел к выводу, что я там потребовался как врач.

Уже у ворот дворца я узнал, что в резиденции Малик-шаха свирепствует оспа и что все дети покойного султана больны этой страшной болезнью. Меня встретил Муджир ал-Даула – единственный визирь из команды Низама ал-Мулка, сохранивший свой пост при Туркан-хатун, видимо потому, что он сам был родней семье султана. Он провел меня в детские опочивальни. По состоянию Барк-Йарука, Мухаммада и Муйиз ад-Дина я понял, что у них кризис болезни уже миновал, жар пошел на спад и язвочки на лице покрылись корочками. Мне оставалось лишь предупредить мальчишек, чтобы они их не расчесывали.

Потом мы зашли к Махмуду. Возле него неотступно находилась сама Туркан. Она сразу же сделала знак Муджиру, чтобы он вышел из комнаты, и, когда мы с ней остались наедине, она бросилась к моим ногам и обняла их.

– Спаси его, Омар! – сказала она, подняв ко мне заплаканное лицо.

Я посмотрел на нее, и острая жалость пронзила мое сердце: я увидел, что в ее красивых волосах, всегда таких черных, как ночь разлуки, сейчас появилась серебряная нить седины. Я поднял ее и

стал утешать. Утешать вполне искренне, потому что у ребенка уже не было жара и даже его лицо было чище, чем у его сводных братьев. Но я не мог ей сказать, что я, как врач, помню лишь советы Ибн Сины, самому же мне Аллах не подарил великого дара творить чудеса исцеления, каким Он наградил Учителя.

Моя уверенность лишь на миг успокоила ее, и тревога вскоре вернулась к ней: этот ребенок был для нее больше, чем сыном,- он был символом ее власти и могущества. И я, дав несколько советов по уходу за больным, вышел к Муджиру. Мы отправились к Санджару. Там болезнь еще была в полной силе. Мальчик был в жару, бредил, и лицо его казалось красной маской.

– Что ты скажешь? – спросил Муджир.

– Мальчик внушает серьезные опасения,- честно ответил я ему.

Я всегда помнил слова замечательного врача-нишапурца Абу Сахла ал-Нили, встречи с которым были незабываемой частью моей юности. Он говорил:

– Врач никогда не врет, ибо ложь – это предательство, а врач не может предавать.

Еще он сказал:

– Преданность – опора разума, а искренность – это дар.

И эти истины, как и его пронзительная стихотворная строчка: «Я укротил отчаяньем свою душу», всегда находились при мне. Вот и сейчас они пронеслись в моем мозгу.

Потом я дал несколько советов ухаживающему за Санджаром слуге-эфиопу, как облегчать страдания этой истерзанной плоти.

От Муджира я узнал, что заболели также ал-Казвини и еще несколько командиров дворцовой гвардии. Они, видимо, и привнесли эту болезнь во дворец из своих походов, и я посоветовал Муджиру немедленно вывезти всех больных отсюда и разместить их в одной из загородных резиденций. Муджир пообещал сразу же этим заняться.

Я шел домой, измученный увиденным, и еще раз пожалел о том, что мне не была дана Аллахом власть над болезнями. Перед уходом я спросил Муджира, не следует ли мне остаться во дворце, но он сказал, что с больными все время будут несколько врачей, а если понадобится срочный консилиум, то меня вызовут.

Когда я на следующий день, не дождавшись вызова, сам прибыл во дворец, чтобы проведать больных детей, я был оглушен известием о том, что вчера, вскоре после моего ухода, умер малолетний султан Махмуд и что он, как того требует Закон, был похоронен до заката солнца, а Туркан сегодня на рассвете отбыла к своей родне в Бухару.

Я десятки раз перебрал в памяти минуту за минутой свой

вчерашний визит к Махмуду и был абсолютно убежден в том, что Смерть была очень далека от его ложа. Но я понимал, что восстановить истину у меня нет и никогда не будет никакой возможности. Так и останется до конца моих дней, как стрела, застрявшая в моем сердце, воспоминание о моей желанной зрелой красавице – царице, обнимающей мои ноги, и смутное чувство моей собственной вины.

Такое течение дел означало торжество партии Низама ал-Мулка, и предпринятая по моему совету госпитализация всех гвардейских командиров за пределы Исфахана облегчила ей возвращение к власти. Вернувшийся с базара слуга сообщил мне последние новости: султаном провозглашен Барк-Йарук, а великим визирем стал сын Низама ал-Мулка Муайид ал-Мулк.

Приглашение к новому великому визирю я получил через несколько дней после воцарения Барк-Йарука. После обычных приветствий он перешел к благодарностям, сказав, что дом Сельджукидов никогда не забудет моей помощи в восстановлении династической справедливости. Но я вежливо отклонил похвалу, сказав, что я действовал только как врач, а не как политик, и всего лишь строго выполнял предписания великого Ибн Сины. Мне очень не хотелось, чтобы в чьей-нибудь памяти сохранилось мнение о моем намеренном участии в дворцовых интригах.

Затем я перевел разговор на судьбы обсерватории и ученых, отдавших ей десятилетия своего труда. Я назвал суммы денег, необходимые для восстановления ее деятельности. Великий визирь сказал мне, что за два года, прошедшие с момента убийства Низама ал-Мулка, хозяйство страны пришло в полный упадок и что ему, визирю, необходимо время, чтобы разобраться во всех запущенных делах, после чего наш разговор на эту тему будет более конкретным. Завершил Муайид нашу беседу следующими словами:

– Пока я лишь хочу сказать, уважаемый имам, что ты всегда будешь украшением двора и моего дивана и твое жалованье не уменьшится ни на дирхем! Кроме того, мне известны и будут известны детям моим обязательства нашей семьи по отношению к тебе.

Может быть, кого-нибудь и обрадовали бы приветливые слова всесильного визиря, но у меня они вызвали грусть и печаль, ибо за их лаской я явственно услышал приговор обсерватории, от судьбы которой он так настойчиво отделял мою личную судьбу. Он обещал продолжить этот разговор в следующем месяце, но я уже сегодня предчувствовал его результат.

И наша вторая встреча, которая все-таки состоялась, лишь подтвердила мои опасения. Я, понимая, что теперь мне уже будет

не так просто бывать во дворце, как во времена Малик-шаха, сразу же выразил великому визирю свое желание возвратиться в родной Нишапур. Моя просьба встретила понимание, хотя визирь не стал скрывать, что он огорчен моими намерениями. Он хотел бы видеть меня, мудрого и степенеющего с годами, в кругу своих советников, и я не сомневался в искренности его слов и чувств. Но вся беда была в том, что в этом заманчивом для многих будущем я не видел себя.

Муайид еще раз подтвердил, что ежегодное жалованье в десять тысяч динаров, назначенное мне его отцом, я буду получать и впредь, где бы я ни находился. На этом мы расстались.

Итак, по принятому на земле Аллаха летосчислению, в большом мире шел четыреста восемьдесят седьмой год, а в моем маленьком мире я начинал свой сорок седьмой год пребывания среди живых, и я был свободен и богат, конечно, в весьма разумных пределах.

Перед своим отъездом из Исфахана я собрал друзей на скромный прощальный ужин. Чтобы у тех, кто будет читать мои записки, не создалось впечатление, что я бросал своих соратников по обсерватории на произвол Судьбы, сразу скажу, что со мной пировали обеспеченные люди. Всем им были подарены в вечную собственность усадьбы и дома, построенные для них по приказанию Малик-шаха, да пребудет с ним благословение Аллаха, и каждый из них уже имел приглашение преподавать в одном из университетов Низамийе, основанных Низамом ал-Мулком (мир ему) во всех крупных городах царства, а десятилетие работы и общения со мной были для них лучшими рекомендациями. Поэтому пир наш не был печальным – все примирились с тем, что произошло, и теперь ощущали себя у порога новой жизни, и мы в разговорах и шутках не заметили, как прошла эта ночь. Вскоре поляна в моем саду опустела, и слуга унес в дом свернутый ковер и пустые кувшины, в которых вечером еще играло молодое вино.

В те несколько дней, оказавшихся в моем распоряжении до отхода ближайшего каравана в Нишапур, мне еще предстояло решить судьбу моей усадьбы. Я не думал о своем возможном возвращении в Исфахан. Более того – я предчувствовал, что мне суждено жить и умереть в родном Нишапуре. Но я думал об Анис. Я был старше ее на двадцать семь лет! Двадцать семь лет – это целая жизнь. В свои двадцать семь я уже был известным математиком, автором трактатов, по которым учились другие. И я понимал, что придет время, если Аллах захочет, чтобы оно пришло, когда эти двадцать семь лет навсегда разделят меня и Анис, а ей нужно будет продолжать жить. И я решил, что тогда

она сможет поселиться в этом доме, где она уже привыкла быть хозяйкой, и потому не стал продавать его. Я оставил в нем слугу, разрешив ему жениться и дав денег на выкуп невесты, чтобы они вместе содержали дом. Из-за этого мне пришлось еще раз побывать у чиновников Муайида ал-Мулка и договориться с ними о регулярной выплате некоторой части причитающегося мне содержания моему слуге на жизнь и хозяйственные расходы. На этом я завершил свои исфаханские дела, и через несколько дней рассвет застал меня и Анис покачивающимися на спинах верблюдов, неторопливо начавших свой долгий путь навстречу восходящему солнцу.

Возвращение в Нишапур

и последнее путешествие в Бухару

Мое возвращение в Хорасан было совсем не таким, как прибытие в Исфахан двадцать три года тому назад: два сильных молодых верблюда, на которых восседали я и Анис, шли в составе обычного торгового каравана, и нас не сопровождали вооруженные отряды. Купцы нервничали и были в постоянном страхе, опасаясь нападения грабителей, и мое спокойствие их удивляло. Точно так же удивлялись отсутствию страха в моих глазах бандиты Хасана Саббаха, похитившие меня в Нехавенде, чтобы доставить в Аламут пред очи этого самозванного «шейха». Глупцы! Они все не понимают, что истинный суфий не знает страха Смерти, поскольку он живет и странствует налегке, не разлучаясь с Аллахом, постоянно присутствующим в его душе, и полностью поручив себя Его воле.

Я еще в прошлые свои путешествия заметил, что Дорога приносила мне высочайшую степень уединения, несмотря на сопровождавшие караван переклички погонщиков, щелканье бичей, топот коней, разговоры купцов, пение, крик ослов и лай собак – весь тот обычный шум, который всегда возникает там, где скапливаются люди и животные. Так было и на сей раз: я уединился, как только Исфахан скрылся за холмами, и, сосредоточившись, стал медленно преодолевать предназначенный мне Путь51. Через несколько часов сосредоточения я уже был на пятом макаме52 и своими душой и сердцем обозревал открывшуюся передо мной Долину гармонии мироздания. Никто, даже Анис, не мог даже предположить, как далеко я нахожусь от грешной Земли и от людской суеты во время таких восхождений и как далеки и как мало значат для меня человеческие радости и печали.

Так проходили день за днем, разделенные краткими ночлегами от заката до восхода на постоялых дворах, а однажды каравану пришлось заночевать на привале под открытым небом на краю пустыни, где звезды особенно ярки, и я почти всю ночь странствовал своим взором среди знакомых мне созвездий – моих прекрасных собеседниц нескольких тысяч прекрасных исфаханских ночей.

И вот уже перед нами во всей своей красоте раскрылась долина Джебаруда, и все наши вьючные животные, ощутив

близость цели, прибавили шаг.

На закате дня наш караван достиг постоялого двора в западном предместье Нишапура. А до наступления темноты я и Анис, пересев на постоялом дворе на отдохнувших осликов, успели въехать во двор к моей сестре Аише, жившей в другом предместье, именовавшемся деревней Анбарудуста. Я ехал впереди на ослице, а Анис за мной на ее молодом осленке, и мне почему-то вспомнились слова какого-то из румских Писаний, приписанные неверными нашему Закарийи53, гласившие: «Радуйся, дочь Сиона,- это праведный царь твой приближается к тебе, сидящий на ослице и на молодом ослике – сыне ее». Но я не был уверен в том, что вышедший нам навстречу мой зять Мухаммад ал-Багдади, за год до этого посетивший меня в Исфахане, и тем более моя сестра знали этот текст, и я предпочел ему традиционные приветствия.

Анис с Аишей ушли на женскую половину дома, а Мухаммад проводил меня в выделенную мне комнату, где мы немного побеседовали, но разговор о главном – о том, где и как я буду жить в Нишапуре, отложили на утро.

Я по привычке встал рано, чтобы понаблюдать за восходом солнца. Я с удовольствием прогуливался по небольшому садику, посидел на прохладной траве на берегу веселого ручейка, убегающего через другие сады затем, чтобы вместе с другими такими же ручейками, на которые распадается Джебаруд, оросить эти сады, масличные рощи и окружавшие город поля своей живой водой. Сад моей сестры был очень ухоженным и этой своей прилизанностью будил во мне неприятные воспоминания о фальшивой джанне, устроенной Хасаном для обмана молодых убийц, и без того одурманенных гашишем. Поэтому взор мой время от времени обращался к запущенной усадьбе, отделенной от владений Аиши и ее супруга невысоким дувалом54. Дом в этой усадьбе отсутствовал, и лишь по поросшим травой руинам в одном из ее уголков можно было догадаться, где он стоял.

Когда проснулся и вышел из дома мой зять, я спросил его, кому принадлежит эта земля.

– Народ называет ее «землей горшечника Нияза», но сейчас она принадлежит какому-то купцу. Она осталась у него в обеспечение залога, а сам он живет в другой части города,- ответил мне Мухаммад.

Я сказал, что очень хотел бы купить землю горшечника и пристроить свой домик к глухой стене дома сестры, чтобы дожить в нем свои годы.

Интересовавшего нас купца мы в тот же день нашли на базаре и узнали, что он давно мечтал избавиться от этой земли, но никак

не мог найти покупателя, потому что участок был небольшим и там почти не было земли для посевов. Я сказал, что не собираюсь сеять и что поэтому участок мне вполне подходит.

Купец не торговался, и земля горшечника была куплена за тридцать динаров. Через неделю там закипела работа: нанятые мной строители быстро возвели дом из четырех комнат с верандой. Одна, наиболее удаленная, комната предназначалась Анис. Самая большая, с очагом, стала комнатой для гостей и собраний, поскольку я предполагал, что у меня появятся ученики. Остальные две комнаты занял я, устроив в одной из них библиотеку и кабинет, а другую превратил в спальню.

Комнату для слуги я выделять не стал, решив, что сумею обойтись приходящим человеком.

Закончив строительство, рабочие предложили мне разобрать руины жилья горшечника так, чтобы от былой постройки не осталось и следов, но я не согласился. Я лишь распорядился сделать неподалеку от них у ручейка навес и под ним деревянный настил, решив, что здесь будет место для летних застолий. Отсюда был виден весь сад, и когда я обзавелся слугой, то первым долгом приказал ему проложить в саду несколько троп, оставив вдоль них высокую траву, почти соприкасающуюся с нижними ветвями плодовых деревьев. Тропинки же, по моему указанию, были устланы черепками разбитых кувшинов, которыми были засыпаны руины. Видимо, горшечник-гончар часто бывал недоволен своей работой и сам же разбивал свои творения, подобно Всевышнему Гончару – Йезиду. Когда люди шли по тропинке, покрытой этим керамическим боем, черепки отвечали на каждый шаг скрипами, потрескиванием и стонами, напоминая живым об ожидающей их участи!

Я был доволен тем, что у меня получилось: рядом с моим домом возник приют для подобных мне странников, взыскующих Истины, где их души смогут сделать остановку между прошлым и будущим, созерцая приметы того и другого.

Меня же, когда я в уединении бродил этими тропами, более всего поражали фрагменты ручек, отвернувшихся одним концом от своих нареченных кувшинов. Гончар, считая это своеволие глины браком, разбивал такие сосуды, а мне застывшая, изогнутая в пространстве ручка казалась женской рукой, тянущейся к любимому, к другому. Однажды я поднял отбитое горлышко кувшина с отогнувшейся в сторону ручкой и увидел на ней окаменевший след пальца и ногтя гончара. Помню, что в тот день я в смятении вернулся в дом и зашел к Анис среди дня. Я стал целовать ее руки и плечи, а она, без слов, как будто бы понимая мое состояние, заставила их совершать чарующие

движения, словно в танце «бисмил»55, но только едва заметные. И ласки наши пошли дальше, и мы оставили дневной свет и не занавесили окно, чтобы Солнце и Всевышний осветили и освятили нашу Любовь.

Через несколько дней после того, как строительство моего дома было закончено, а сад был приведен в порядок, у меня появились гости: ко мне прибыл старейшина преподавателей из Нишапурской академии Низамийе, достопочтенный Абу-л-Касим ар-Рагиб, с двумя своими помощниками. Абу-л-Касим был по происхождению исфаханцем, и мы до этого несколько раз встречались в его родном городе. Общего у меня с ним было мало: он не был обращен к точным наукам и занимался в основном историей ислама.

В его изысканной вежливости я сразу же почувствовал тревогу: мой гость явно был обеспокоен моим возможным, по его представлениям, появлением среди учителей Низамийе, что сразу бы сделало меня опасным претендентом на его место, которым он, по-видимому, очень дорожил. Чтобы окончательно убедиться в этом, я вел беседу в весьма уклончивой манере, и это принесло свои результаты. Мне был задан прямой вопрос, собираюсь ли я заняться преподаванием в Низамийе. И только тогда я сообщил ему, что не намерен обременять себя какой-либо постоянной службой, и что если я и буду когда-нибудь иметь учеников, то заниматься с ними буду у себя дома. Выслушав меня, ар-Рагиб уже совершенно искренне вознес хвалу моим познаниям во всех науках, назвал меня царем ученых и с достоинством откланялся.

После этого визита я целый год провел в уединении. Я вглядывался в свое прошлое. Вся моя жизнь, быстротечная, длиною уже без малого в пятьдесят лет, промелькнула, как сон самой краткой летней ночи, и мне казалось, что она вся состоит из следствий неведомых мне причин. И я, без устали напрягая мысль, искал эти причины. Я искал Знаки Всевышнего на моем Пути и убеждался в том, что этими Знаками были усеяны все мои земные дороги и странствия моей души. И именно они порождали те самые следствия, из которых состояла моя жизнь. Получалось так, что Он, Всевышний,- обладатель Причин, а мы превращаем Его высокие замыслы в житейскую суету.

И даже само начало моей жизни было отмечено Знаком, ибо Кем были посланы дервиши, по советам которых свершилось мое зачатие? Кто заставил хакана Ибрахима проехать там, где я торговал старой рухлядью? Кто и почему наделил меня такой детской и юношеской красотой, перед которой замирали сердца правителей и вельмож? Почему мне были дарованы разум и память, выделяющие меня из череды смертных? И так далее: за

каждым поворотом моей Судьбы скрывалась неведомая мне Причина.

Зная Причины, можно было бы предвидеть следствия, но я умозрительно не мог справиться с этой задачей. Когда ко мне во время этих размышлений откуда-то прибился кот, избравший меня своим хозяином, я подумал о том, что он послан мне Всевышним и что, наблюдая за ним, я получу ответ на мучившие меня вопросы. Однако этот зверь, по-видимому достаточно благородный, если сам пророк Мухаммад, да благословит его Господь и да приветствует, терпеливо ждал, пока кот напьется из его кувшина воды, предназначенной для омовения перед молитвой, принес мне больше загадок, чем ответов. Как я мог объяснить, почему именно за две недели до Науруза его охватывает страсть, и он от любви теряет и голову и аппетит, и становится тощим и слабым, только глаза его горят, как у Меджнуна.

Лишь в одном опыт моего кота оказался мне полезен: я вспомнил рассказ о великом ас-Шибли56, который говорил, что предельной неподвижности во время медитации он научился у своего кота, наблюдая за тем, как тот замирает, подстерегая мышь или птицу. И я стал искать ответы не разумом, а душой, погружаясь в неподвижность, позволявшую продвигаться на Пути до самых дальних стоянок, и, когда я находился там, я получал ответы на все мучившие меня вопросы, но, возвращаясь из этого блистающего мира в наш жалкий мир людей, я лишь чувствовал открывавшиеся мне истины, не умея выразить их. Знал я лишь одно, что эти истины скрыты в гармонии окружавшей меня Природы и что они всегда где-то рядом.

Я почти ничего не записывал. Слово «почти» в данном случае означает лишь то, что от этого года раздумий осталось только два-три десятка стихотворных строчек. Когда я чувствовал, что одиночество мое следует прервать, я заходил к сестре, разговаривал со своими племянниками и племянницей, иногда рассеянно слушал математические рассуждения зятя. Решения многих задач, о которых он говорил, казались мне очевидными и не заслуживающими внимания, но я оставался серьезным слушателем, стараясь, чтобы Мухаммад покинул поверхность знаний и ушел в их глубины.

Иногда я беседовал со своим слугой-садовником. Он приходил не более трех раз в неделю и всегда сообщал мне все городские новости. А иногда я заходил в комнату Анис и наслаждался ее ласками, то робкими, то смелыми, считая их достойной наградой за мою воздержанность.

А когда этот год философского полузатворничества прошел, у

меня появились ученики. Было их два: один – Абу Абдаллах ибн Мухаммад Балхи, человек местный, хорасанец, а другой – Абу-л-Маали ал-Майаниджи, приехавший специально ко мне из Хамадана. Наши занятия проходили в уже упомянутой мной беседке вблизи руин дома горшечника, и кроме нас на скатерти всегда присутствовал кувшин вина, три пиалы и несколько свежих лепешек, испеченных Анис.

Занятия я вел в свободной манере: я не излагал им подробности наук, а обращал их внимание на глубинную сущность этих наук, и это происходило в неспешной беседе – я как бы отвечал на любые их вопросы. Но эта бессистемность меня не смущала, поскольку я всегда считал удовлетворение любопытства лучшей формой обучения.

Время от времени нашу беседу прерывало явление Анис с новым кувшином вина, свежими лепешками и с фруктами, когда их нам дарил наш сад. Анис, выходя к нам, не закрывала лицо. Ее открытая улыбка делала это лицо прелестным, и я даже с некоторым тщеславием ловил взоры мужчин, брошенные на нее украдкой. Я считал, что неожиданное и мгновенное испытание Красотой не менее полезно для становления личности ученого, чем длинные наукообразные речи. Темы же наших бесед были самыми разнообразными. Мы обсуждали толкования Корана и греческую философию, историю и фикх57. Я сразу же заметил, что вопросы и высказывания хорасанца были составлены так, чтобы вызвать меня на политическую и теологическую откровенность, которую я всегда считал неуместной в науках, представляющих собой, по сути дела, поиск путей к Истине. Хамадани же явно интересовал предмет обсуждения, а не эмоциональные оценки. Я учел эти обстоятельства.

Занимались мы по два раза в неделю, встречаясь для этого на рассвете, но наши беседы иногда затягивались до ранних вечерних сумерек. Я сам всегда высоко ценил утренние часы, когда мозг еще не отвлечен дневной суетой и когда время отмеряют только крики петухов в тишине, и я хотел, чтобы мои ученики также полюбили утренние зори.

Готовиться к приходу учеников у меня необходимости не было, ибо все знания всегда находились при мне, и я все свое свободное время между занятиями проводил в раздумьях, медитациях и в воспоминаниях. Воспоминания же часто врывались в мою жизнь, отрывая меня от философских размышлений и не давая сосредоточиться. Одно из них было особенно мучительным – это воспоминание о моей царевне Туркан. Там, в Исфахане, говорили, что она, после смерти сына, сразу же уехала к своей родне в Мавераннахр, но, после этой

весьма скупой информации, ее имя было окружено густой пеленой молчания, и я тщетно пытался узнать ее судьбу.

Вместо того чтобы затихать с течением времени, память моя о Туркан становилась зримой – меня стало посещать Видение. В этом Видении она приходила ко мне во всей красоте, незапятнанной близостью с теми, от кого зависела ее власть, и я счел все происходящее со мной Знаком Всевышнего, повелевающим мне ее отыскать. А иногда мне казалось, что это она сама шлет мне свой тайный призыв, только откуда он исходил – из-за быстрой Аму, видевшей нашу любовь, или из звездных миров, где, возможно (и я не мог уйти от этой возможности!), уже обрела покой ее душа в ожидании того дня, когда Всевышний призовет всех нас на Свой строгий Суд.

Когда эта неопределенность стала для меня невыносимой, я объявил своим ученикам о двухмесячном перерыве в наших занятиях и стал готовиться к путешествию в Бухару и Самарканд, попросив своего садовника сообщать мне обо всех готовящихся туда караванах.

Вскоре случай представился. Караван, как всегда, уходил на рассвете, но мне это было не в тягость – я всю свою жизнь спал очень мало и вставал, когда окружавший меня мир еще был погружен в утренние сумерки. Любой отъезд есть перемена жизни, а перемены возбуждают, и в такие торжественные минуты волнуются даже такие бывалые степные волки, как погонщики и купцы. Путников в дороге всегда подстерегает опасность, которая может принять облик неожиданной бури, горного обвала или бандитов-грабителей. Но у меня не было дурных предчувствий, а я своим предчувствиям всегда доверял, и поэтому я успокоился одним из первых, если не считать верблюдов: они невозмутимо двигались по дороге, что-то пожевывая и горделиво посматривая по сторонам. Глядя на них, я подумал, что если в домашних условиях сосредоточению следует учиться у кота, то, находясь в пути, стоит подражать поведению верблюдов.

Постепенно мои мысли освободились от дорожной суеты, душа моя покинула этот мир, где продолжало жить мое тело, и начала свое восхождение от стоянки к стоянке на том Пути к Истине, который избрал я для себя. День клонился к вечеру, и была ночь под звездами, и я продолжал существовать в двух мирах – здесь, в войлочной палатке или на спине верблюда, и там – среди светил, усыпавших безлунное небо.

В опасных местах, где можно было ждать нападения, в караване начинался переполох и споры, что делать дальше. В такие моменты я возвращался на Землю и уверенно провозглашал, что каравану ничто не угрожает. Мой авторитет – в

данном случае я имею в виду авторитет ученого, а не свой личный,- был настолько велик, что шум прекращался, и караван, хоть и настороженно, но быстро двигался вперед, стараясь поскорее пройти опасное место. Забегая вперед, скажу, что, после этого путешествия в Бухару, я приобрел устойчивую славу предсказателя караванных судеб во всем Хорасане, и в моих будущих странствиях я стал для всех желанным попутчиком, чем-то вроде талисмана, гарантирующего счастливый путь.

И вот наш караван, без потерь переправившись через Аму, стал приближаться к окраинам благородной Бухары. Оставив позади одни из ворот в стене, укрывающей предместья, караван вошел в четвертые ворота центральной части шахристана.

В первые же дни моего пребывания в этом городе меня потрясли перемены, происшедшие в нем за двадцать пять лет моего отсутствия. Не говоря уже о заметных общих признаках упадка, связанного с тем, что «Дом Афрасийаба»58 перенес свою столицу в Самарканд, центр которого носил имя легендарного правителя Турана, я не находил здесь людей, близких мне по духу, которых я тогда оставил в здравии и веселии. Я остро ощутил относительность времени: годы, проведенные в исфаханской обсерватории, теперь казались мне несколькими месяцами, а здесь в это время прошла целая жизнь.

Побродив по улицам шахристана и предместий и найдя по старым адресам новых, незнакомых мне людей, я вышел к кладбищу. Должен сказать, что я с юных дней любил кладбища – эти поля, усеянные черепками людских надежд,- считая их лучшим местом для уединения и раздумий.

Главное бухарское кладбище за время моего отсутствия сильно разрослось, и тропинки, по которым я бродил в молодости, покрылись высокой травой. Видимо, ни одна живая душа, кроме плачущих в сумерках шакалов, там не появлялась.

В большинстве своем могилы были безымянными и, скорее всего, не посещаемыми. Некоторое время мне казалось, что я одинок на этом кладбище, но возле одной усыпальницы я заметил дервиша. Он сидел на камне у замурованного входа в последнее пристанище похороненного здесь человека и, не спеша, трапезничал, а его нехитрая снедь была разложена тут же на камне на поясном платке.

– Раздели со мной эту скромную пищу! – обратился ко мне странник.

Я поблагодарил и спросил, кто похоронен в склепе, возле которого он устроил себе праздник.

– Мухаммад ибн Исмаил ал-Бухари, мир и благословение Аллаха да пребудут с ним,- ответил дервиш и добавил: – Это был

замечательный ученый.

Но мне не были нужны его пояснения, поскольку автора «Собрания правильного» я знал лично и хорошо помнил философские беседы, украшенные радушием и остроумием хозяина. Там никто не говорил о суфиях – такие разговоры были тогда опасны, но достопочтенный Мухаммад знал не только огромное количество хадисов59, но и бездну суфийских притч. Эти сказания людей Пути он выстраивал в определенном порядке, и из сокровенных смыслов, скрытых в каждом из них, как жемчужины в раковинах, перед внимательным слушателем с незамутненным сердцем возникала стройная система мировосприятия, преисполненная той высочайшей Гармонии, которая доступна только Всевышнему Йезиду. Поэтому встречи с ал-Бухари были для меня завершением моего суфийского обучения. Они вывели меня на Путь и указали направление для дальнейшего самостоятельного движения.

Все эти мысли и воспоминания были мгновенными, а за ними пришла Печаль. Я, столько раз писавший и говоривший о Смерти, здесь, на бухарском кладбище, может быть, впервые осознал ее неотвратимость. И я почувствовал, что должен тут же, не сходя с места, на котором мои ступни попирали прах давно ушедших людей, обратиться к Нему, чтобы напомнить о себе с надеждой. Слова мои сложились в стихи, и я произнес их перед изумленным дервишем:

Хоть я Тебе не угождал, Господь,
И грех с души я не смывал, Господь,
Живу с надеждой на Твое прощенье,
Ты – мой, всегда единственный, Господь.

После этого я пошел прочь, куда глаза глядят. Сумерки вернули меня в город, и весь следующий день я потратил на беседы со сведущими людьми, пытаясь выяснить судьбу Туркан-хатун. Результаты моих расспросов были неутешительными: по словам всех, к кому бы я ни обращался, Туркан не возвращалась в Мавераннахр. И сведения, и сообщавшие их люди вызывали доверие, в связи с чем планировавшаяся мной поездка в Самарканд становилась бессмысленной. И я решил не являться пред ясные очи хакана Махмуда60 и за две недели, остававшиеся до ближайшего каравана в Нишапур, побывать в местах, где я впервые в своей жизни испытал всеобъемлющее счастье земной любви. Еще в Бухаре я узнал, что усадьба, где жизнь свела меня с царевной Туркан, находится в запустении. Не раскрывая своих намерений побывать там, я сказал своим новым бухарским

друзьям, что хочу уединиться в пустыне, чтобы обдумать некоторые появившиеся у меня идеи.

Мне мои друзья выделили спокойного коня, и в один из дней, которыми я располагал, я на рассвете выехал из Бухары на запад, вдоль одного из русел, на которые распадался Зарафшан, безуспешно стремясь смешать свои воды с водами Джейхуна61. К вечеру я был там, где два с лишним десятилетия назад находилось процветающее царское поместье. Теперь от него оставалась лишь одна запущенная постройка, в которой только одна комната сохраняла жилой вид благодаря коврам, покрывавшим пол и стены, да и на них был толстый слой пыли, свидетельствовавший о том, что человека здесь уже не было очень давно. Не было в этой усадьбе ни конского табуна, ни даже какой-нибудь собаки, а бурная и непокорная река Аму, меняя русло, уже смыла остальную часть поместья и сейчас настойчиво размывала землю, подбираясь к единственному уцелевшему зданию.

Я подошел к краю невысокого обрыва, и под самыми моими ногами кипела и бесновалась темно-желтая, почти коричневая вода. Мне вспомнилась одна фраза, сказанная каким-то греком и повторенная другим,- о том, что в одну и ту же реку нельзя войти дважды. Эта мудрость родилась от созерцания реки, тысячелетиями бежавшей по одному и тому же каменистому руслу, и относилась лишь к смене вод. Если бы этот давний мудрец знал здешние капризные блуждающие по земле реки, то свою мудрость он сформулировал бы без особого труда, ибо сейчас передо мной была не просто другая вода, а другая Аму.

Я решил переночевать в заброшенном доме, но потом передумал: была поздняя весна, ночи уже были теплыми, и я устроился на веранде. Надо мной было звездное небо – такое же, как в Исфахане и Нишапуре, и я странствовал по нему от созвездия к созвездию, пока не заснул под шум реки, продолжавшей свою беспрерывную разрушительную работу.

Утром я двинулся к нашей с Туркан поляне, боясь, что ее тоже размыла река, но, к счастью, этого не случилось. Исчезла лишь тихая заводь, по которой тогда, как по рисовому полю, бродил аист по колено в воде. Теперь она стала частью русла, и бегущие воды вплотную подошли к нашему брачному ложу. Я расстелил свой халат и прилег. Мой конь задумчиво щипал травку неподалеку – там, где моя память сохранила видение двух конских силуэтов, и я всеми силами своей души призвал к себе царевну Туркан, но мой призыв остался без ответа. Я смотрел на зеленые стебельки, окружавшие меня и щекотавшие мое лицо, и подумал о том, что, пока я мотался по свету и был занят какими-то делами, представлявшимися мне важнейшими, здесь

выпрямилась примятая нами трава, дала семена, из семян появились новые ростки, и так, меняя поколения, та трава дожила до сегодняшних дней и собирается жить дальше, храня где-то в своих глубинах память о молодых и красивых телах, сплетавшихся на этой поляне. Если бы и мы, люди, так же прорастали из глубин земли, если бы нам была дарована такая непрерывность бытия!

Я лег на спину и закрыл глаза, мечтая о том, что когда я их открою, то увижу склоненную надо мной Туркан, но чуда не произошло, и я увидел над собой синее небо и смотревшую на меня бледную дневную Луну, почти такую же красивую и прозрачную, как моя юная царевна. Я вспомнил и наши последние с ней тайные свидания в Исфахане и подивился тому, что моя память стерла пыль овладевших мной тогда подозрений и сохранила лишь ее лучезарный лик.

Мой конь вел себя спокойно, а это означало, что окружающие нас заросли не скрывают никакой опасности. Видимо, потомки полосатого царственного кота, видевшего нашу с Туркан любовь, сегодня проводили свое время в других местах. Я вышел на край пустыни. Там шла борьба бытия с небытием, вода и травы вели сражение за каждый клочок земли, даруя нам, людям, пример упорства и терпения.

Возвращался я в Нишапур умиротворенным и в печали, думая о справедливости слов, которые румийцы приписывают господину нашему Сулайману ибн Дауду, мир и благословение Аллаха с ними обоими, будто бы сказавшему, что сердцу мудреца место в доме Печали. Кто бы первым ни сказал эти слова, я убедился в их справедливости.

Но жизнь наша устроена так, что и мудрецы иной раз вынуждены погружаться в суету. Так случилось и со мной по возвращении в Нишапур, где я хотел в уединении и размышлениях отметить день моего пятидесятилетия. Но мой слуга и некоторые другие нишапурцы рассказали мне, что и в городе, и среди местных ученых бродят слухи о том, что я в своем доме и в своем окружении отошел от Шариата и руководствуюсь правилами поведения и отношений между людьми, установленными язычниками-греками, и что мое учение основано на греческих науках, а единственный путь к Всевышнему Йезиду, по моему утверждению, состоит не в молитвах, а в личных усилиях по очищению души. Не было забыто молвой и появление моей Анис в мужских собраниях с открытым лицом. Говорили и о моих стихах, подвергающих сомнению и исламские истины, и даже общепринятые законоположения. Справедливости ради следует отметить, что все это отчасти было правдой, но эта

правда была опасной: я уже убедился, что провинция всегда хочет казаться святее Мекки и те мои вольности, которые вызывали лишь улыбку у сильных мира сего в столичном Исфахане, здесь могли послужить основой серьезных обвинений, касающихся не только меня, но и немногочисленных близких мне людей.

Собрав, по возможности, все эти слухи воедино, я стал их анализировать, и мой анализ показал, что их источником мог быть только один человек – мой ученик, факих62 Абу Абдаллах (я помнил несколько его провокационных вопросов и узнал в дошедшей до меня сплетне свои, слегка искаженные ее автором, ответы).

Я некоторое время обдумывал сложившуюся ситуацию, а потом в моих мыслях созрел определенный план действий. Следуя ему, я, как ни в чем не бывало, возобновил свои занятия с учениками. Свой сюрприз я приготовил к нашей третьей встрече. Накануне ее я договорился со старейшиной городских музыкантов о том, что его команда к рассвету следующего дня соберется на крыше дома моей сестры, и, когда, увидят, что Анис вышла в сад, дружно заиграют торжественную мелодию, чтобы на улице собрался народ.

И вот, когда мы втроем уже выпили по чашке чая и начали свои ученые беседы, вдруг раздался барабанный бой и запели зурны63.

– Что это такое? – удивленно спросил Хамадани.

Я ответил, что вчера мельком слышал о свадьбе, которая должна состояться по соседству, и, видимо, народ извещают об этом событии.

Мы продолжили наши беседы, но музыканты не унимались, и через четверть часа я предложил прерваться и посмотреть, что там происходит. Во дворе по моему указанию садовник с вечера приставил удобную лестницу к стене дома, и я предложил ученикам подняться на крышу, откуда должно быть лучше видно. Когда мы поднялись, то увидели, что на соседней крыше вовсю наяривают музыканты, а улица заполнена недоумевающими горожанами. Тогда я поднял руку, дав этим условный знак старейшине оркестра, и музыка сразу же смолкла. Взяв за руку Абу Абдаллаха, я подвел его к краю крыши и громко сказал:

– Нишапурцы! Вот вам ваш ученый! Он вот уже год в это время приходит ко мне и постигает у меня науку. А потом в городе, находясь среди вас, говорит обо мне так, как вы знаете. Если я действительно таков, как он говорит, то зачем он заимствует у меня знания, если же нет – то зачем он поносит своего учителя?

К концу моей краткой речи Абу Абдаллах вышел из

оцепенения и, вырвав у меня свою руку, быстро спустился с крыши и бежал огородами от моего дома. Толпа же, помолчав несколько мгновений в растерянности, наконец пришла в себя. Раздались приветственные крики и громкий смех. Кто-то призывал на меня благословение Аллаха, и я почувствовал, что все по достоинству оценили устроенное мною зрелище и никто не был на меня в обиде за беспокойство.

С этого момента отношение ко мне в городе изменилось. Когда я шел по улице и проходил мимо групп что-то оживленно обсуждавших горожан, разговоры стихали и все, выстроившись в ряд, кланялись мне и ловили мой взгляд. Отцы указывали на меня своим детям, и я слышал тихие слова: «имам Хорасана», «царь ученых» и другие лестные эпитеты, которые, впрочем, меня так же мало трогали, как и предшествовавшая им хула, и свои действия, изменившие мир вокруг меня, я предпринял не ради славы, а ради безопасности тех, кого со мной соединила жизнь.

Так у меня остался только один ученик, потому что Абу Абдаллах в тот же день исчез из Нишапура в неизвестном направлении. Мои разговоры с Хамадани становились все более откровенными. Перед тем как приехать в Нишапур, он учился в знаменитой багдадской Низамийе, где тогда преподавал Абу Хамид ал-Газали. Его при мне вызвал из Нишапура в Исфахан Низам ал-Мулк, и я помнил приход этого богослова в мою обсерваторию. Потом я узнал, что великий визирь откомандировал его в 484 г. в Багдад для усиления группы преподавателей только что основанной Низамом ал-Мулком Низамийе. Однако, как мне рассказал Хамадани, уже в 488 г. ал-Газали покинул Багдад, став на суфийский путь. Видимо, стены Багдада, хранившие память о мученической смерти Абу-л- Мугиса ал-Халладжа64, подвигли его на борьбу за полную легализацию суфизма и его примирение с исламом. До Багдада еще тогда, когда там был Хамадани, доходили слухи, что ал-Газали, ведя странническую жизнь, работает над капитальным трудом о сущности веры. Хамадани привел мне дошедшее до него высказывание ал-Газали о том, что совершенство состоит в полном самоисчезновении и в отречении от своих состояний, и я почувствовал близость духовных поисков этого богослова к моим личным переживаниям.

Эти вести обрадовали меня. Меня не мучили угрызения совести в связи с тем, что я так ошибся в ал-Газали, когда я был в Исфахане, но я всегда искренне радовался, когда мир становился лучше, чем я о нем думал. И я от всей души пожелал ему успехов, даже не надеясь дожить до того времени, когда они принесут ожидаемые результаты. К счастью, я ошибся и на этот раз.

Дом и Путь

Ласковая и все еще молодая Анис своей любовью утолила мое сердце, истерзанное ранами памяти и болью предательства. И сладкая печаль, навеянная путешествием в Бухару, и разрыв с Абу Абдаллахом постепенно уходили в даль Времени. Я начинал свой шестой десяток, еще не так уж давно казавшийся мне последним периодом моей жизни, но еще ничто во мне не предвещало близости ухода.

В то же время, после происшествия с Абу Абдаллахом, внимание некоторой части нишапурцев из числа тех, кто относил себя к образованным людям, ко мне усилилось. Видимо, слухи и все то, что за ними последовало, возбудили их любопытство. Воображение такого рода людей услужливо рисовало им, вероятно, какие-нибудь утонченные картины «греческого» разврата, и я ощущал постоянное стремление этой наиболее впечатлительной части нишапурцев заглянуть за высокую стену, окружавшую мою личную жизнь. Мне становилось тесновато в этом городе, и я вспоминал ее величество Дорогу, где я мог достигать такого уровня сосредоточения, который был совершенно невозможен для меня здесь даже при строгом уединении в своей комнате.

Когда я поделился этими мыслями с Хамадани, тот предложил мне совершить путешествие в Мекку, без которого, как он сказал, все рассуждения о вере будут неполными. Меня это предложение обрадовало, и я даже был удивлен тем, что сам до этого не додумался. Отправившись к святым местам, я, во-первых, буду отсутствовать в Нишапуре не менее восьми месяцев, а во-вторых, сниму вопрос о мере моего благочестия до конца жизни.

И мы с Хамадани стали собираться в путь. Перед отъездом я впервые предложил свободу своей единственной невольнице и сказал, что она может проехать со мной до Исфахана и вступить во владение предназначенными ей домом и садом, но Анис категорически отказалась, а я не стал настаивать.

Первым крупным городом на нашем пути был Рей, и он был конечным пунктом движения нашего каравана. Здесь нам повезло: буквально через день-другой караван уходил в Басру, и мы пристали к нему со свежими верблюдами, купленными в Рее, и двинулись по направлению к Басре. Мне очень хотелось посетить Шираз. Молва о красоте этого города не умолкала многие столетия. Я уже не мог застать в живых проживавшего там имама Абу Насра ал-Насави (мир ему),- весть о его кончине пришла ко мне несколько лет тому назад, но я, полюбовавшись

Ширазом, смог бы посетить его могилу и почтить память этого человека, лично знавшего Учителя.

Мои планы, однако, были неисполнимы, потому что приближался месяц паломничества, а нас от Мекки еще отделяли многие десятки дней пути.

В Басре мы без долгих колебаний продали наших верблюдов и решили дальше двигаться морем. Среди стоявших у причала судов мы увидели прекрасный новый корабль с парусами из новой плотной и красивой ткани. Своей красотой он сразу же покорил наши сердца. На корабле было еще несколько паломников, но большую часть пассажиров составляли купцы, и их товары заполняли трюмы и палубу. Их торговые дела заставляли нас останавливаться в приморских городах – в Кешме, Маскате и в Мохе. Я пользовался этими остановками, чтобы побродить по улицам, в конце которых синело море, посидеть в кофейнях, послушать смешение языков, мне известных и неизвестных. Я чувствовал здесь себя на границе краткого бытия и вечности, твердо зная, что через сто или тысячу лет шум людей, заполняющий эти улицы, утихнет, а города исчезнут или изменятся до неузнаваемости, и только океан и шум приливов и отливов останутся неизменными. Сходные ощущения иногда я испытывал во время своих уединенных ночных бдений в обсерватории, когда в моем мире оставались только Всевышний, я и небо, а теперь, когда я сидел с чашечкой кофе на скалистом берегу, о который мерно разбивались волны, в моем мире оставались только Всевышний, я и бескрайнее море.

После Мохи на корабле остались только паломники, и не прошло и недели, как мы высадились на берег в двух днях пути от Мекки. Когда мы прощались с кораблем, капитан спросил меня, помню ли я морскую часть истории пророка Йунуса65. Я лишь улыбнулся в ответ, а капитан продолжил свою речь:

– Если бы я и моя команда бросали жребий, чтобы узнать, кого по воле Аллаха любит море, то он бы пал на тебя. За все наше долгое плаванье на море ни разу не поднялись опасные волны, а наши паруса были упругими от попутного ветра, и во всем этом я ощущал твое благотворное влияние. Воистину ты – великий человек, угодный Аллаху!

– Я всего лишь скромный паломник,- ответил ему я,- и хотя я действительно всю жизнь ищу Путь к Всевышнему, но до сих пор не уверен, что я его когда-нибудь найду.

Мы расстались друзьями, и капитан пожалел, что не может подождать нас до окончания паломничества, чтобы мое присутствие оберегало корабль и на обратном пути в Басру. Я тоже был бы не против еще раз пережить прелесть морского

путешествия, но Хамадани, мой спутник, еще в начале нашего странствия, заранее уговорил меня возвращаться в Хорасан через Багдад: ему хотелось посетить Низамийе и другие памятные ему места и показать мне красоты этого великого Города Мира. Поэтому нам предстояло пересечь огромную пустыню, которая могла оказаться не менее опасной, чем бушующий океан.

В Мекку мы пришли на второй день Зу-л-хиджжа66, и у нас оставалось время, чтобы отдохнуть и прийти в себя после долгого пути.

Я не буду здесь описывать ритуалы паломничества – они и так всем известны. Скажу лишь, что мне они не были в тягость. Основные состояния души и тела, сопутствующие как малому, так и большому паломничеству, были близки к перевоплощениям, которые происходили со мной в те мгновения, часы и дни, когда я оставался наедине со Всевышним. Главной же особенностью этих состояний в условиях паломничества было то, что они овладевали мной в толпе, в гуще людей, но и это мне не мешало, поскольку мы, люди Пути, умеем быть в миру и не от мира и ощущать себя одинокими в толпе. Я, конечно, еще не мог тогда достичь той степени уединения в мире, которая была доступна великому шейху Абу Йазиду67, умевшему выходить за благой порог своего бытия в совершенно безлюдную Вселенную, но многое в самососредоточении мне уже было доступно.

В перерывах между медитациями, когда я возвращался в мир, мой взгляд скользил по лицам паломников, и я, к сожалению, постоянно чувствовал, что этими людьми движут страх и надежда – страх перед возможностью оказаться в аду и надежда на то, что Господь смилуется и раскроет перед ними двери рая. Эти люди, я уверен, не знали правила жизни, сформулированного моей предшественницей на Пути, несравненной Рабийа68: «Истинное служение состоит в том, чтобы не желать рая и не бояться ада».

Подобное же преобладание страха перед Господом над любовью к Нему я наблюдал и у молящихся христиан и иудеев. Мудрость, приходящая из-за Хинда69, свидетельствует о том, что и там идут интенсивные поиски Пути. Свой Путь они называют Нараяной, и, по известным мне признакам этого Пути, можно судить о том, что он близок к моему. Мне не довелось переправляться через Хинд, и мне неизвестны книги индийцев, но один из наших странников, с которым мне приходилось беседовать в Нишапуре, изложил мне несколько основоположений. Некоторые из них, в частности такое, как: «Познавший высшее преодолевает Смерть»70,- были очень близки мне. И это не удивительно: ведь наш хорасанец ал-Худживири71, расставивший указательные знаки на моем Пути, бывал в Индии

и, написав там свое руководство суфиям, умер на берегах Хинда, когда я еще был в Мавераннахре. Сходство наших Путей безусловно: оба они освящены Любовью и ведут к Истине, но я не знаю, все ли там за Хиндом освещены светом Любви или это лишь удел избранных, а большинство, как и у нас, пребывает в страхе. Мы много говорим и думаем о свободе, но что такое свобода без Любви и Добра? Если ее лишить или не придать ей этих благих качеств, она станет хуже, чем рабство.

Замена страха перед Всевышним Любовью к Нему ничего не меняет в сути ислама, и я мог совершенно искренне закончить свое паломничество положенными словами: «Господи, это паломничество мое совершено без всякого лицемерия и заносчивости». И я надеялся, что когда-нибудь богословы поймут и примут эту великую замену. Тогда еще я не знал, что это время уже близко.

Эти мысли занимали меня уже по пути из Мекки в Город Пророка72, поскольку в течение всего времени паломничества я был сосредоточен на его ритуалах, и это мне не было трудно: я убедился, что мой опыт сосредоточения применим во всех случаях. Свой переход мы с Хамадани совершали в обычном торговом караване, потому что я предложил побыть в Мекке дня два после того, как ее покинут все паломники. Мне хотелось почувствовать собственную душу Святого Города. Увы, ничего особенного я в нем не заметил. В нем шла обыденная жизнь, исполненная присущей людям суеты. В кофейнях обсуждали последние новости, купцы подсчитывали барыши и снаряжали караваны для пополнения своих запасов. В святых местах города, на священных холмах и в священной долине73, где совсем недавно волновалось людское море, было пустынно и так тихо, что можно было услышать журчание воды в акведуке, бегущей в Мекку из этой долины. И я ощутил присутствие в этом благословенном краю Аллаха более явственно, чем когда здесь все было заполнено людьми.

Наша задержка в Мекке оказалась полезной и для посещения Медины: и там мы как бы прошли по следам основной волны паломничества и смогли спокойно помолиться в Мечети Пророка. Отдохнув несколько дней в этом красивом городе и подыскав попутный караван, мы вскоре покинули цветущий Йасрибский оазис и углубились в великую пустыню, отделявшую нас от Багдада.

Переход этот занял около двух месяцев, и я никогда в жизни не имел столько свободного времени для размышления и медитаций. Мои спутники и погонщики, гордые тем, что преодолевают пустыню, и всецело поглощенные своей борьбой с

нею и с теми сюрпризами, которые она готовит любому, кто находится в ней, даже не смогли бы себе представить, сколько странствий по Вселенной за время нашего земного пути совершил я. Они просто не замечали моего отсутствия, успокоенные наличием в караване моего тела, в то время когда моя душа, покинув это свое вместилище, скиталась среди звезд и становилась частью Единого, сливаясь с Ним, а потом возвращалась ко мне, обогащенная сокровенным Высшим Знанием.

Любая, даже самая длинная дорога, имея начало, имеет и свой конец, и в конце нашего пути нас ждала награда – прекраснейший город Багдад. Хамадани не терпелось ввести меня в круг ученых знаменитой багдадской Низамийе, но я настоятельно предложил ему провести в Городе Мира несколько дней, не обнаруживая себя: мне нужно было время, чтобы окончательно вернуться на Землю из моих скитаний по Вселенной и скрыть свою причастность к людям Пути. Дни эти прошли среди веселой багдадской суеты.

Приняли нас в Низамийе со всем возможным почтением. При этом основное внимание собрания было сосредоточено на мне, и я, в который раз в своей жизни, ощутил скрытое желание своих собеседников проникнуть в тайны моего сокровенного Знания. Вскоре кофе на столах сменили кувшины с набидом74. Радушные хозяева, видимо, полагали, что вино развяжет мне язык, но они не учли мой огромный опыт винопития, и эффект был обратным: языки развязались у них. Я всегда признавал, что в вине есть грех, но мудрый человек должен уметь пить так, чтобы вкус вина был больше спрятанного в нем греха,- пить, чтобы не страдать от выпитого. Кроме этого, нельзя забывать о том, что выпивший пять чаш чистого вина проявляет свою сущность – все Добро и Зло, содержащиеся в душе пьющего. И мудрец упражнением и опытом пития определяет для себя и не переступает ту грань, за которой вино начинает приносить мучения, и тогда с начала пития вина и до конца от него не происходит никакого зла и грубости ни в словах, ни в поступках, а только добро и веселье.

Вскоре я убедился, что у моих собеседников этого благого опыта винопития не было, и оно раскрыло их души, обнажив сокрытые в них зло и обиды друг на друга и на их покровителей. Их интерес переключился на других, и я оказался защищенным стеной из винных паров от их повышенного внимания. Мне же, сохранившему трезвый взгляд на жизнь и обстоятельства, оставалось только поразвлечься их перепалками, сплетнями и взаимными обвинениями. Как это всегда бывает у тех, кто пил вино, не зная собственной меры, первоначальное возбуждение у

них сменялось глубокой депрессией, и их бессвязные злые речи смолкли, и те, кого тут же еще не сморил сон, стали мучительно припоминать, не наговорили ли они здесь чего-нибудь лишнего. В этот момент я и покинул сию компанию, поблагодарив их за теплый прием и сказав, что беседа с ними была для меня весьма поучительной и полезной для моих нынешних философских занятий. Уходя, я поймал на себе несколько удивленных взглядов – те, кто еще сохранил некоторую способность соображать, были поражены твердостью моей походки и осмысленностью моих слов, после того как на их глазах я выпил вина больше, чем любой из них.

Хамадани был удручен впечатлениями от этой встречи. Особенно поразили его злобные высказывания ученых-багдадцев по адресу высокочтимого им ал-Газали. Видимо, Багдада к тому времени достигли какие-то слухи о возможном возвращении ал-Газали в багдадское Низамийе, и посредственности заблаговременно сплотились, чтобы дать отпор выдающемуся собрату. «На порог не пустим этого еретика!» – говорили они75. Я утешал Хамадани словами о том, что будущее всего живого всегда определяется великим Аллахом и что он, Хамадани, как истинный суфий, обязан чтить Предопределение.

Через несколько дней мы покинули Багдад. Наш путь от Багдада до Исфахана пролегал по населенным местам. Впрочем, нашим общим с Хамадани этот путь был только до Нехавенда. Там нам было суждено расстаться – Хамадани возвращался в город своей нисбы76. Наличие городов и селений на нашем пути и мысли о предстоящем не давали мне внутренне сосредоточиться и оторваться от Земли, но я не досадовал и с удовольствием наблюдал чужую жизнь, мимо которой двигался наш караван.

Пути наши, как я уже сказал, расходились в Нехавенде. Само название этого городка было для меня зловещим, преисполненным скрытой опасности. Но теперь он, казалось, хотел разубедить меня в моей предвзятости: он возник перед нами на закате солнечного дня, когда первые прохладные струи горного воздуха освежают сады и луга, изнывающие от дневной жары, и его мирный спокойный, облик не предвещал никакой беды. Возможно, поэтому сон мой был крепким, хотя встал я, как обычно, на рассвете. Хамадани уже собирался в путь – его караван уходил первым. Мир просыпался, и успокоительный щебет птиц и крики петухов не оставляли места страхам.

Я обнял Хамадани, и он сел на верблюда, а я, после некоторых колебаний, бросил взгляд на его лицо. Я боюсь своих последних взглядов, потому что в них мне иногда открывается

будущее человека. Вот и в этот раз я увидел на лице Хамадани печать мученичества. Я видел лишь один источник опасности на его пути – встречу с хашишинами Хасана Саббаха, но через полгода после своего возвращения в Нишапур я получил весть от него – живого и здравствующего – и успокоился, решив, что на этот раз я ошибся77.

В Исфахане мой караван не задержался и остановился в нескольких часах пути от него на восток, где был постоялый двор. Дальше нам предстоял путь по пустыням и пустынным местностям, простиравшимся до границ Хорасана, и почти все время этой части пути душа моя отсутствовала на Земле. Такие длительные медитации и сопутствовавший им полный душевный покой, видимо, что-то изменили в моем облике, добавив к нему спокойствия и умиротворения. Люди же расценили эти перемены как благотворное влияние паломничества, и если посмотреть на это дело шире, то, возможно, они были правы, потому что ни одно странствие не предоставило бы мне столько возможностей приближения к Всевышнему и к пониманию Его Промысла. Что бы там ни было, а зеленая чалма78 существенно повлияла на отношение ко мне горожан. Лишь один человек в Нишапуре не обратил внимания на происшедшие со мной перемены. Это была Анис, открывшая мне свои благоуханные врата нежности, и я, после столь долгого воздержания, воспринял все затем происшедшее так, будто оно свершилось со мной в первый раз.

Когда, отдохнув от своего путешествия, я стал встречаться с нишапурцами, я узнал о важных изменениях, происшедших в Хорасане. Оказалось, что сын Малик-шаха, мир ему, Санджар, которому было восемь лет, когда детей этого покойного государя поразила оспа, и болезнь которого, несмотря на мои опасения, закончилась благополучно, был назначен своим старшим братом – султаном Барк-Йаруком – наместником Хорасана. Центром же своего наместничества он избрал город Мерв, расположенный в двух с половиной неделях пути на северо-восток от Нишапура. Оказалось, что восьмилетний мальчик запомнил своего врача. Во всяком случае, должностные лица Нишапура рассказали, что, проезжая по дороге в Мерв через наш город, принц приказал им пригласить меня к нему и огорчился, узнав о моем отсутствии. Хотя мое благополучие в те годы не зависело от Санджара, поскольку сын Низама ал-Мулка – великий визирь султана Барк-Йарука Муайид ал-Мулк – неуклонно выполнял завет своего отца о выплате мне ежегодного содержания, а правитель округа в Нишапуре регулярно его выплачивал, я решил в самое ближайшее время посетить принца в Мерве, ибо даже мой скромный опыт царедворца научил меня не оставлять без внимания пожелания

властителей.

Той же осенью я побывал в Мерве. Принц Санджар принял меня с уважением и даже ласково. Он объяснил и причину своего интереса ко мне, сказав, что ему хотелось бы собрать в Мерве ученых во всех областях знаний и что главой этого собрания он видит только меня. Я знал о себе больше, чем он обо мне, и я понимал, что возглавлять группу ученых, как когда-то в Исфаханской обсерватории, я уже не смогу, и поэтому вежливо отклонил его приглашение, предложив вместо себя Абу Хатима ал-Музаффара ал-Исфизари, своего самого лучшего сотрудника в Исфахане, тогда еще очень молодого, а теперь уже солидного ученого.

Я заметил, что не очень огорчил принца Санджара своим отказом, и я обрадовался этому, потому что в своем разговоре с ним я был искренен. Еще в Исфахане я заметил, что ал-Исфизари обладал чувствами системы и иерархии, что отразилось в таких его словах, которые он часто повторял: «Архитектор, знающий что строится и способы строительства,- это основа здания, за ним следует строитель – подрядчик, а потом – рабочий. Архитектор дает распоряжение строителю, тот указывает рабочему, а рабочий распоряжается водой и глиной, и только так воздвигаются здания». Человек системного мышления лучше справится с организационной работой, чем тот, кто, подобно мне, руководствуется вдохновением, ибо вдохновение проходит. У ал-Исфизари, к тому же, системное мышление сочеталось с незаурядным математическим талантом, что бывает редко, и со способностью наслаждаться творчеством, и с уважением к учителям, что у таких людей бывает еще реже. Об этом свидетельствуют его слова, которые я принял сердцем и запомнил:

«Учитель – это духовный отец, а родитель – отец телесный,- говорил он, и еще: – Соотношение между чувственным и умственным наслаждением такое же, как соотношение между обоняющим и пробующим на вкус».

Согласившись с моим предложением, касающимся ал-Исфизари, принц Санджар высказал свое желание, чтобы я съездил в Исфахан и, побывав в своей заброшенной обсерватории, посмотрел, какие там сохранились приборы и можно ли их перевезти в Мерв, где он хотел начать звездные наблюдения и астрономические измерения. Для этой цели, сказал он, мне будут выделены верблюды и несколько вооруженных сопровождающих. Я чувствовал, что мой второй отказ может испортить наши отношения навсегда, и потому принял это предложение.

Принц распорядился поселить меня в его дворце, и я в

качестве надима79 провел там три дня, пока готовилась эта экспедиция. Свое свободное время я проводил в прогулках по Мерву. Переезд туда принца Санджара благотворно сказался на облике этого древнего города. Были приведены в порядок большая и малая Кыз-Кала – величественные старинные здания. Истинным украшением города стал и заново отделанный дом со складчатыми стенами, в котором принц разместил диван80.

Заглянул я и в местное медресе. Слух о том, что я не собираюсь перебираться в Мерв, каким-то образом уже стал известен и там, и я ощущал скрытую радость местных мудрецов. Видимо, сведения о жесткости моего характера и о моем свирепом нраве, после моей расправы с нишапурским сплетником, дошли до здешних ученых, и они меня побаивались, подумал я. И в этом не было ничего удивительного, ибо большая часть их здесь, как и везде, только имеют вид ученых и, завидуя друг другу, одевают Истину ложью, не обращая внимания на уже упомянутые мной слова пророка, да благословит его Аллах и приветствует, о том, что завистливый ученый будет среди тех шести человек, которые войдут в ад за год до Судного дня. Свой небольшой запас знаний они используют лишь для низменных плотских целей. А если они встречают человека, отличающегося тем, что он ищет Истину и любит правду, стремясь отвергнуть ложь и лицемерие и отказаться от хвастовства и обмана, они делают его предметом своих насмешек. Все это я испытал еще в юности и явственно ощущал вокруг себя теперь. Но этикет есть этикет, и я вел беседу с ними спокойно, уклоняясь от обострений, и, конечно, никак не мог отказать им в их просьбе привезти из Исфахана сочинение Ибн Сины «Книга спасения», которой в Мерве не было. Я торжественно обещал.

В Исфахан я отправился прямо из Мерва и только на один день по пути остановился в Нишапуре. Там я еще раз предложил свободу Анис и еще раз получил категорический отказ. Тогда я сказал, что этот приезд в Исфахан я использую, чтобы продать свою усадьбу, поскольку не было никакого смысла сохранять ее за собой. Да и побывать еще раз в Исфахане я уже не надеялся: уже близился когда-то обозначенный мной для себя рубеж жизни – шестьдесят лет моего пребывания на этом свете.

В Исфаханской обсерватории, когда я туда прибыл, я нашел не так уж много оборудования, которое можно было бы перевезти в Мерв и там использовать. Я составил подробную опись таких приборов, и на том официальную часть моей миссии можно было бы считать законченной.

Мне оставалось продать усадьбу, что также произошло без задержки, нанести визиты во дворцы властителей, отыскать

«Книгу спасения» и побывать на местном кладбище, почтить память тех, кого я не застал здесь живыми, и в который раз подумать о бренности жизни. Планируя эти свои дела, я впервые осознал себя стариком – сегодня я уже был на год старше Учителя, но как мало, по сравнению с его наследием, то, что я сам оставлю людям!

Султан Мухаммад, сменивший в прошлом, 498-м, году рано покинувших этот мир Барк-Йарука и Муйиз ад-Дина, принял меня ласково. Видимо, в памяти всех детей покойного Малик-шаха, мир ему, сохранилось убеждение в том, что именно я спас их от смертельной болезни. Я чувствовал это, но старался поскорее уйти от этих мыслей и ощущений, так как они напоминали мне не о моем триумфе, а о моем бессилии. Я не мог забыть прекрасную царицу Туркан, с мольбой обнимающую мои ноги, и спокойный взгляд малыша Махмуда, которого тайком от меня все же каким-то непонятным мне образом похитила Смерть.

На следующий день после посещения султана Мухаммада я отправился во дворец покойного Низама ал-Мулка. Его сын – великий визирь – был очень занят государственными делами, но все же уделил мне полчаса, угостив хорошим кофе, равный которому мне не приходилось пить в кофейнях Мекки и Багдада. Мне понравилось, что Муайид перенял от своего отца пристрастие к этому напитку. Я попросил разрешения визиря поработать в его библиотеке и отправился туда по знакомым мне коридорам. Я без труда обнаружил там «Книгу спасения» великого Абу Али, мир ему, но библиотекарь без разрешения визиря ни за что не хотел отдавать ее мне в Мерв для переписки. Я не осмелился еще раз побеспокоить визиря по такому пустяку и решил, внимательно прочитав ее, продиктовать текст писцу по возвращении в Мерв. Обычно для полного запоминания книги мне бывало достаточно трех ее прочтений, но сейчас я решил прочитать ее раз шесть, чтобы затем точнее воспроизвести ее во всех деталях. Я засиделся в библиотеке до позднего вечера, и это не было мне в тягость: я как бы провел время в долгой беседе с Учителем, и наслаждение от этого превышало усталость.

На сей раз я не зависел от чужих караванов, поскольку со мной был отряд сопровождения, готовый в любой момент двинуться в путь по первому моему слову, но я решил провести в Исфахане еще сутки, устроив себе день безделья. Этот день для меня памятен. Я побродил по знакомым мне местам, где мы пировали с друзьями, вспомнил уже покинувшего этот мир ал-Васити и его заветное правило, которому он был верен всю жизнь. Он говорил: «Если ты достиг чего-то благодаря ошибочным мнениям, то это не должно побуждать тебя к повторению ошибки,

поскольку благополучный исход ошибки – редкость».

Зашел я и в покинутый дворец Малик-шаха. Когда я говорю слово «покинутый», я не имею в виду то, что он пуст и брошен на произвол судьбы, превращаясь в руины. Во дворце Малик-шаха сохранилась челядь, в обязанности которой входило содержать в порядке все дворцовые строения, но отсутствие властного хозяина поощряло нерадивость слуг. В одной из греческих религиозных книг я прочитал слова «мерзость запустения», и они мне запомнились. Теперь я убедился воочию, как мерзость запустения обволакивает места, где еще совсем недавно кипела жизнь. Безлюдье привлекало птиц, и они были здесь повсюду, заполняя мир своим щебетом и писком, а одна из них почему-то жалобно и громко кричала, и в ее крике мне слышался вопрос: «Куда? Куда? Куда?» Куда ушел этот былой блеск и куда исчезла моя Туркан, я ответить не мог.

Потом я передал свою усадьбу ее новому хозяину, получил деньги, и мы двинулись в обратный путь.

В Мерве я отчитался перед принцем Санджаром, который еще раз из приличия спросил, не решился ли я возглавить здесь обсерваторию, и, услышав мой прежний ответ, сказал, что в любом случае он будет рад видеть меня, если я окажу честь собранию здешних ученых, став его постоянным участником.

В мервском медресе были очень огорчены тем, что я не привез им обещанную книгу, но я попросил у них писца, и за неделю под мою диктовку он записал ее. Потом мне рассказывали, что у одного заезжего ученого «Книга спасения» Абу Али, мир ему, оказалась в личном багаже. Мервцы не поленились, и двое преподавателей медресе засели за сверку ее с продиктованным мною текстом, но никаких отличий так и не нашли.

После всех этих утомительных путешествий я отправился в Нишапур, рассчитывая там прожить безвыездно несколько месяцев и хорошо отдохнуть. В Нишапуре меня ждала приятная новость – переданная каким-то купцом книга Хамадани «Сливки истин» и письмо от него. Я, по своему обычаю, начал с книги и был приятно удивлен: в ней, наряду с высказываниями многих выдающихся мусульман, содержались мысли знаменитых суфиев. Я с радостью читал: «Лишь того, кто постиг бытие вечно Существующего, да будет Он благословен и возвышен, может охватить не поддающаяся описанию великая Любовь к Нему и всецелое посвящение себя Ему. Всякое возможно сущее – преходящее, за исключением Истины вечно Существующего. Озарение Земли светом Солнца требует особой связи между ними, и если эта связь распадется, то нарушится способность

Земли воспринимать свет Солнца.

Покровитель да возрадуется тому, кто стремится к внутреннему ощущению, ибо самоочищение сопутствует людям, которые очистили свою душу от нравственных пороков и скверны, и общение с такими людьми не обременительно».

Как близки были моему сердцу эти слова!

Принимаясь за письмо Хамадани, я, еще не раскрыв его, вспомнил о тяжких предчувствиях, мучивших меня в момент нашего расставания в Нехавенде, и возрадовался их необоснованности: Хамадани был жив, творил и не забывал обо мне! В своем письме он сообщал о новости, которая еще не дошла до Нишапура и Мерва: оказывается, ал-Газали наконец обнародовал свои труды, в которых суфизм был представлен как вполне законная ветвь ислама. Несколько самых авторитетных теологов, ознакомившись с его «Воскрешением наук о вере», выдали свои фетвы81, охраняющие эту книгу. Хамадани сообщал, что он писал свою книгу под впечатлением этого события. Я тоже был очень рад тому, что теперь о нас, суфиях, и о наших взглядах на мир можно будет писать прямо, а не иносказательно.

Тем временем из Мерва возвратился мой свояк. Мы с ал-Багдади разминулись: он ехал в Мерв как раз в те дни, когда я стремился в Нишапур, чтобы отдохнуть от царских милостей и внимания. Через некоторое время мы провели вечер в беседе за кувшином легкого вина. Ал-Багдади был разочарован тем, что Судьба на этот раз избрала центром Хорасана не наш Нишапур и его цветущую долину, а окруженный пустынею Мерв, город с более суровым климатом, находящийся, если быть точным, за пределами нашего округа.

Я понимал, что корень огорчения моего свояка скрыт не в географии и не в климатологии. Ученым необходимо общение с себе подобными, даже если не все они отвечают требованиям, предъявляемым к этому высокому званию, и неплохой математик ал-Багдади не был исключением из числа тех, кто в таком общении нуждался. Как ни странно, это общение, может быть, в меньшей дозе было необходимо даже такому убежденному индивидуалисту, как я.

К моменту моей беседы с ал-Багдади в моих мыслях, пока еще невысказанных, начал созревать некий план, и наш разговор подтолкнул меня к откровенности. Я сказал, что приобщенность к большому научному центру важна и для меня и что я предлагаю решить этот вопрос следующим образом: за деньги, полученные мной от продажи исфаханской усадьбы, купить небольшую усадьбу в Мерве, что позволит нам с ним чаще приезжать туда, как к себе домой, для общения с учеными и вельможами, не

пользуясь при этом ничьим гостеприимством.

Ал-Багдади эта идея очень понравилась, и он сразу же предложил взять все хлопоты на себя. Я не возражал и сказал, что наш дом, по моему мнению, должен быть домом людей живых, и ожидать нас там должны не только стены, но и люди.

Между Нишапуром и Мервом

Не прошло и года, в течение которого ал-Багдади два раза побывал в Мерве, как все наши планы были реализованы, и, когда я осенью 500-го года собрался наконец съездить в этот город, ал-Багдади, находившийся там в это время, вышел меня встречать к каравану (оказалось, что он, зная мои планы, уже месяц как выходил к каждому нишапурскому каравану в надежде меня встретить) и проводил в наш общий с ним мервский дом. Это была уютная усадебка с небольшим садом и аккуратным домиком с айваном82. Усадьба эта была расположена в рабаде83, вплотную примыкавшем к центральной части города Шахрияр-арку, а с ее двора даже просматривалась цитадель.

Я по своей привычке пошел в первую очередь рассматривать сад. Он был почти квадратным в плане, как будто эти наделы делил геометр, вроде меня, и имел в глубину и в ширину по сорок шагов. Восточный его угол пересекал ручей – один из тех, на которые распадался Мургаб, чтобы отвоевать у пустыни часть земли для Мервского оазиса. Ручей был полноводным, и мне казалось, что он несет с собой свежий воздух далеких гор, где в это время уже заканчивалось таянье снегов и ледников, образующих бурные потоки, наполняющие Мургаб. Я присел на берегу ручья и почувствовал себя дома: вид бегущей воды, ее журчанье, тень дерева и щебет птиц в его ветвях! Что еще нужно человеческому сердцу!

Муж моей сестры не торопил меня, давая мне насладиться тем, что он для меня приготовил. Он знал мою способность покидать Землю и знал с моих слов, что за несколько мгновений моего отсутствия я проживаю там несколько жизней. И когда я вернулся, он сидел рядом со мной в той же позе, в которой я его оставил. Только теперь я заметил легкую хитроватую усмешку на его лице и понял, что это чудное место для раздумий и для сосредоточения не единственный сюрприз, который он мне приготовил за мои деньги.

Когда мы вошли в дом, он стал показывать мне комнаты, чтобы одну из них я выбрал для себя. Первая же, куда он меня ввел, мне понравилась, и я, сняв обувь у порога, прошел по ковру к ее середине, где над закрытым решеткой очагом для тлеющего древесного угля84 стоял маленький столик весьма искусной работы. Когда я любовался им, позади меня раздался мелодичный звон халь-халей85. Мне сначала показалось, что этот звон идет откуда-то свыше, и лишь потом я оглянулся на дверь. Полог ее был откинут, и на пороге стояли две совершенно одинаковые

девушки-тюрчанки, за которыми виднелся ал-Багдади, улыбавшийся во весь рот.

Они были красивы той особенной красотой, которой славятся девушки их племени, и я не мог оторваться от созерцания этих двух полных лун, сиявших в нескольких шагах от меня. Молчание затягивалось, и ал-Багдади решил, что оно означает мое недовольство увиденным.

– О мой учитель! – сказал он.- Ты сам пожелал, чтобы в нашем мервском домике была жизнь, а выделенных тобой денег хватило на две жизни, и я решил не экономить на этом благе. Мы, математики, знаем, что иногда «два» лучше, чем «один». Мне кажется, что это как раз тот случай.

Я ответил ему, что вполне с ним согласен, но как их отличить друг от друга? Он сказал, что со временем мы, вероятно, этому научимся, хотя это не так уж важно. Двойняшек, которых ал-Багдади приобрел на местном невольничьем рынке, звали Гулнор и Гулсара86. По словам продавца, им было по пятнадцать лет, но на вид им можно было бы дать и восемнадцать. Впрочем, особых оснований не верить работорговцу у меня не было: слишком живы были во мне воспоминания о единственной до этого времени тюрчанке в моей жизни – царевне Туркан, пришедшей в мои объятия совсем девчонкой, но уже посвященной в таинства любви. И вот теперь мне предстояло выбрать свою вторую тюрчанку из двух стоящих передо мной совершенно одинаковых луноликих красавиц. Глаза их блестели, и в них не было следов грусти, и я вспомнил поверье, гласящее, что близнецы, пока они вместе, не знают, что такое печаль, а если их разлучают друг с другом, то они часто умирают от тоски.

Ал-Багдади представил меня им как «большого хозяина» этого дома, я поприветствовал их, и они ушли в свою комнату. Вторжение этих девушек в мою жизнь было столь неожиданным, что я не сразу осознал его реальность и просто забыл о них. Поэтому, когда я поздно вечером, загасив светильник и собираясь заснуть на удобно разложенных подушках, вдруг услышал слабый звон металла и шорох, я даже немного испугался. «Это я, Гулнор»,- услыхал я тихий голос. И многие счастливые минуты моей жизни мне довелось вспомнить и пережить заново в эту мою первую ночь в моем доме в Мерве!

Своими повадками, ненасытностью в любовных утехах Гулнор (а я до сих пор не уверен, что это была она, а не Гулсара!) так напомнила мне юную Туркан, что мне показалось, будто я присутствую при перевоплощении, вернее – при переселении душ. И еще один итог имела эта ночь: я почувствовал, что мне уже не двадцать лет, как тогда на берегу Аму, когда сам полосатый царь

Турана не решился помешать моей страсти.

Вспомнив о своих годах, я подумал: не странно ли, что в лето моего шестидесятилетия ко мне не по моей воле приходит юная женщина? И не является ли это Знаком Всевышнего, пожелавшего сообщить таким образом, что мне, уже и без того далеко ушедшему в годах, будет дозволено Им еще некоторое время побыть среди живых и что только Он знает мой срок.

Дверей внутри этого дома не было, и вход в каждую из комнат был завешен ковровым пологом, и поэтому закрыться и избежать дальнейших приключений, приготовленных мне и, вероятно, себе моим зятем, я не мог. И снова был тихий звон халь-халей и тихий голос-вздох: «Это я, Гулнор». Я услышал едва заметные отличия от голоса, прозвучавшего вчера, и, в свою очередь, спросил: «Это ты, Гулсара?» – «Я – Гулнор»,- ответил мне голос, и мне показалось, что я услышал в нем смех.

Когда прошла и эта ночь и я наутро размышлял о пережитом в часы любви, я был почти уверен, что это была Гулнор, иначе ей бы пришлось рассказать Гулсаре все детали нашей первой близости и заполнившей ее любовной игры, но что-то все-таки лишало меня твердой уверенности в том, что ко мне приходила одна и та же гостья. Я вспомнил слова Туркан о том, что на каждой женской ферджи написаны имена предназначенных ей мужчин, и пожалел о том, что мне не дано их прочитать. Впрочем, подумал я, может быть, у двойняшек, у которых все одинаковое, одинаковы и эти списки?

Мои сомнения не укрылись от чисто женской проницательности моей подруги, и при следующем свидании, когда мы отдыхали, утомленные любовью, она сказала, что если меня так волнует вопрос, кто из них пребывает со мной, то в следующий раз они могут прийти вместе, и я смогу на собственном опыте убедиться в их различиях в том, что касается любви. «Кроме того,- сказала она,- господин может пожелать женщину, когда у меня будет кровотечение, и тогда меня уже обязательно должна будет заменить Гулсара».

Меня смутили и ее проницательность, и откровенная свобода ее речей, но я решил не уступать ей в искренности и не говорить иносказаниями. Я сказал, что убежден в том, что любовные утехи – это дело двоих, и присутствие третьей, или третьего, или четвертого тут недопустимо. Что же касается ее временных болезней, то, во-первых, она, Гулнор, еще убедится в моей способности к воздержанию, а во-вторых, если уж мне очень захочется ее приласкать в этот период, то передо мной всегда будет пример пророка, да благословит его Господь и да приветствует, который, как рассказывала Аиша87, приказывал ей,

и она надевала шаровары, а затем он ласкал ее, хотя у нее было кровотечение.

Свою способность к воздержанию я продемонстрировал ей тут же, запретив приходить ко мне без приглашения. Потом, в один из последующих приездов в Мерв, я узнал, что Гулсара у меня все-таки тоже побывала,- эти двойняшки играли со мной и ал-Багдади, как хотели, и разгоняли скуку своего бытия, не выходя из дома. Женщине не нужен весь подлунный мир, потому что она везде пытается строить свой маленький мирок, и ей очень часто это удается, а это означает, что Господь смотрит сквозь пальцы на мелкие людские шалости.

А тогда, в свой первый приезд, я проявил решительность в ограничении своих любовных утех, потому что мое затворничество становилось неприличным: многие уже знали о моем приезде, и мое отсутствие в собраниях вызывало недоумение и толки. Несмотря на это, я все же продлил свой отдых от общества на один день и провел этот день в уединении, чтобы обрести душевное равновесие и непроницаемость, необходимые в общении с нынешними людьми, когда под обликом друга может скрываться враг.

Я проводил время в саду, взяв на всякий случай калам и бумагу, чтобы они были под рукой, если мысль будет стоить записи. Но душа моя все еще находилась во власти тела и была переполнена радостью общения с юностью и красотой: в ней звучала небесная музыка и тихий звон халь-халей, сопровождавший медленные движения любви88. И эта музыка искала свой выход, и единственным ее выходом были стихи. Сначала я обратился к Всевышнему с благодарностью за поданный мне знак Его милости:

Ты милосерд, и о грехах не стоит мне жалеть.
Ты дал мне силы тяготы Пути преодолеть,
И, если волею Твоей воскресну без грехов,
Не буду думать я о тех, кому в аду гореть.

Мне хотелось написать газель, но я еще раз убедился в том, что мой удел – четверостишия. Что ж, газели о любви и наслаждении напишут другие, а я, как мог, исписал свои листы привычными мне поэтическими формами.

Появившись наконец в мервском ученом обществе, я узнал, что за год моего отсутствия принц Санджар заметно продвинулся в осуществлении своего желания превратить Мерв в истинную столицу сельджуков. В городе сооружался монетный двор, а диван в качестве великого визиря под именем Шихаба ал-Ислама

возглавил мой школьный побратим – племянник великого Низама ал-Мулка Абд ар-Раззак, отец которого – известный богослов Абу-л-Касим Абдаллах ибн-Али полгода преподавал Коран в нишапурском медресе и ставил меня в пример как знатока Священного Писания даже собственному сыну.

Я счел себя обязанным нанести визит человеку, который практически и ввел меня в круг этой влиятельной и благородной семьи. Когда я пришел к нему, у него был имам чтецов Корана Абу-л-Хасан ал-Газали – тезка по нисбе89 собрата-богослова, прославившегося своими исследованиями. Однако мне не пришлось ждать: слуги по поручению хозяина сразу же проводили меня в зал для гостей, где в это время Абд ар-Раззак и Абу-л-Хасан спорили по поводу разночтений одного из аятов Корана. По-видимому, они не сумели прийти к согласию, и Абд ар-Раззак, указывая на меня, сказал:

– Что ж, придется обратиться к знающему!

Я, сразу же включившись в их беседу, более четко сформулировал виды и характер разночтений и, проанализировав их причины, на основе этого анализа определил единственно возможное правильное понимание трудных мест.

Я был выслушан в полном молчании, а, когда слова мои иссякли, растроганный имам чтецов Абу-л-Хасан сказал:

– Да умножит Аллах подобных тебе среди ученых, сделай меня твоим слугой и будь благосклонен ко мне, ибо я не думаю, чтобы хоть один из чтецов в мире помнил бы это наизусть и знал это, кроме тебя, единственного.

Эта похвала не относилась к тем речам, которые утоляли мое тщеславие, если оно у меня было, но все равно мне было приятно. Жаль было только, что на Абд ар-Раззака не распространились семейные вкусы и на нашей беседе, сопровождавшейся чаепитием, отсутствовал крепкий кофе, а мне так хотелось отведать этого малоизвестного в здешних краях напитка!

Побывав на нескольких ученых сборищах, я отметил, что, благодаря вниманию Санджара, а также старанию и настойчивости ал-Исфизари, встреча с которым была для меня радостной, в ученом окружении принца существенно возросло количество толковых людей. Это меня радовало, но и печалило. В возвышении Мерва я видел признак распада империи сельджуков. Созданная двумя поколениями великих царей, эта огромная страна на моих глазах переставала быть мощной державой. Она уже в год смерти Малик-шаха, в 485-м году, вступила в эпоху царствования детей, всегда сопровождающуюся внутренними распрями. На моих глазах эти распри унесли в безвестие мою царицу Туркан, а еще один мой школьный побратим Хасан

Саббах, как злой джинн из волшебной сказки, возвышаясь над этой страной, держит в своих руках демонов религиозных раздоров и гражданской войны, готовый при первом удобном для него случае напустить эту свору на наш несчастный народ. И вот теперь Санджар, не уверенный в том, что он дождется трона после ухода из жизни своего брата Мухаммада, строит свое государство в государстве, ослабляя этим единство страны.

Обо всем этом я думал в пути, когда мой верблюд еще отмеривал первый десяток фарсахов90 вдоль Мургаба по дороге в Нишапур, прежде чем на время покинуть этот мир с его земной суетой и вознестись душой в межзвездные дали. Смятение моей души было, конечно, связано не только с политическими раздумьями, но и с хаосом чувств, внесенным в мою жизнь необдуманным приобретением ал-Багдади, и я бежал из Мерва, чтобы успеть вырвать свое сердце из рук прекрасных тюрчанок, пока они не превратили его в свой мячик для игр. «Когда я освобожусь от наваждения и обрету себя, я еще вернусь и тогда уже сам буду спокойно играть сердцами двойняшек»,- говорил я сам себе. Постепенно пустыня и звезды, открывающие бесконечность Пути, позволили мне сделать первый шаг к своему освобождению.

Дома Анис сразу почувствовала во мне присутствие тюрчанок и лишь улыбнулась, как бы понимая закономерность происшедшего. Мне даже показалось, что она рада тому, что эти изменения не коснулись ее уклада и что ее дом остается в полном ее распоряжении без необходимости установления рангов «первой», «второй» и так далее – жены или наложницы. Отвечая на эти ее мысли, я сказал, что я бы такого никогда не допустил, и был вознагражден за искренность своих слов ее искренними нежными ласками.

Я знал, что в моем старом нишапурском медресе, носящем теперь название Низамийе, уже более двух лет преподает Абу Хамид ал-Газали, но я еще не встречался с ним, потому что я жил под тяжестью своей вины в том, как я пренебрежительно и высокомерно обошелся с ним при нашей первой встрече в Исфаханской обсерватории. Теперь я решил, что дальше мой ответный визит откладывать нельзя, и, отдохнув дня два после дороги, я отправился в медресе, надеясь его там встретить. Когда я туда пришел, там был перерыв в занятиях, потому что одно крыло медресе в то время подправляли и во двор училища должны были завезти кирпич-сырец. Я сел на скамье для отдыха и стал ожидать часа возобновления занятий, к которому, как мне сказали, должен был подойти ал-Газали.

Ученики и молодые учителя, несмотря на возможность

отвлечься от учебных дел, громко вели общий разговор о суфийском служении. Я порадовался тому, что эта тема стала открытой, и еще раз мысленно возблагодарил за это ал-Газали, но, когда речь у них зашла о сущности суфизма, я искренне опечалился. Меня всегда огорчал простонародный взгляд на это глубочайшее учение, которое непосвященные считали лишь средством достижения человеком сверхъестественных возможностей.

«Я хорошо знаю по собственному опыту, как труден Путь и что не всякому дано пройти хотя бы несколько долин, которые его образуют,- думал я.- Но неужели трудно понять, что Путь суфи – это самопознание и самосовершенствование, и что если при приближении к вершине своего Пути суфи научается творить чудеса, то он имеет право творить их только для себя одного, а не перед толпой, как какой-нибудь бродячий фокусник».

Потом в этой компании началось шумное обсуждение вопросов, связанных с переселением душ, проходившее на том же уровне невежества. Оно было прервано появлением ослов, груженных кирпичом. Все дружно бросились навстречу и стали заводить ослов во двор через не очень широкую дверь. Один из ослов никак не хотел пройти в этот проход и время от времени громко ревел.

Тогда я решил помочь им, а заодно и посмеяться над невольно подслушанным мною до этого их «ученым» спором. Подойдя к ослу, я прочитал экспромт:

Ушел ты и вернулся, став ослом,
Забыли все об имени твоем.
Где были ногти, там теперь – копыта,
Махал ты бородой, теперь – хвостом.

Пока все вслушивались в мои стихи, я незаметно просунул руку под ошейник и сделал несколько движений, после чего осел спокойно вошел во двор. Преодолевать таким образом упрямство ослов научил меня один погонщик каравана во время моих многочисленных странствий. Он говорил, что осел редко видит доброе к себе отношение, и когда, вместо болезненного тычка заостренным колышком – стимулом, как его называли румы,- под хвост, он вдруг ощущает ласку, то на мгновение забывает о своем упрямстве.

Зрители мои этого не знали и ничего не заметили. Для них осел сам пошел навстречу стихам, и они спросили меня, чем это можно объяснить. Я же решил веселиться до конца и поэтому со всей важностью ответил им:

– Дух, который вошел в тело этого осла, в своей прежней жизни находился в теле одного из ныне забытых учителей этого медресе, и поэтому осел не решался войти внутрь. Но когда из моих стихов он понял, что я его узнал, он решил, что ему теперь нечего стесняться.

Как ни странно, придуманное мной объяснение не вызвало подозрений у слушателей. Даже находившиеся среди них учителя не увидели намека на шутку в том, что я поселил в тело осла дух покойного учителя этого медресе.

Тем временем пришел ал-Газали, и я удалился для беседы с ним. К этому моменту я уже прочитал один из томов его капитального труда «Воскрешение наук о вере» и находился под впечатлением прочитанного. Наша беседа была откровенной, и во всем, что касалось Пути, мы понимали друг друга с полуслова, а острые углы наших разногласий в оценках учения великого Абу Али (мир ему) я старался искренне обходить и потому ушел домой с радостным сердцем. Порадовали меня и его слова о том, что он, принимая от Фахра ал-Мулка, сменившего на посту великого визиря при султане Мухаммаде своего отца Муайида ал-Мулка, назначение в нишапурскую Низамийе, заранее оговорил срок своего преподавания пятью годами, после чего он намерен полностью посвятить себя суфийскому служению. Срок этот истекал менее чем через два года. Я в душе приветствовал это его решение, поскольку, помня, по рассказам Хамадани, его жизнеописание, я помнил и о том, как мало он сделал, работая в багдадской Низамийе, и теперь знал, какие шедевры вышли из-под его калама в годы скитаний по земле и пребывания на суфийском Пути.

Забегая вперед, скажу, что на этот раз Аллах отпустил ему совсем мало времени на суфийское служение, и мне так и не пришлось встретиться с ним в Тусе, где он стал суфийским шейхом в 504-м году и в том же году скончался.

А в тот день меня дома ждал неожиданный подарок: какой-то купец, прибывший, по его словам, из Хамадана, доставил мне довольно тяжелый, замотанный в тонкое шерстяное одеяло, пакет. Без меня Анис его не решилась раскрыть. Я сразу же предположил, что это – посылка от моего милого Мухаммада Хамадани, и не очень спешил узнать, что в ней содержится. Когда же я все-таки развернул зеленое одеяло, там оказались кувшин и блюда из серебра очень старинной работы, делавшей эти вещи бесценными. Когда я перевернул кувшин над блюдом, раздался звон – это из него выпала золотая монета. Монета была странной: на ней не была обозначена ее стоимость и не было указано имя отчеканившего ее властителя. Вместо этого на одной ее стороне

были выбиты инициалы Хасана Саббаха, а на другой – очертания замка Аламут.

Я задумался. Эти предметы, безусловно, были получены Хасаном нечестным путем и потому порочны, но не принять дар и отослать его назад я не мог, потому что это был дар побратима и человека, никогда не предававшего меня и не сделавшего мне ничего плохого. Поэтому я решил их оставить у себя, а чтобы разорвать цепь Зла, которое неизбежно несут в себе вещи, добытые обманом и разбоем, я тут же вызвал к себе ал-Багдади и, показав ему эти сокровища, сообщил свою волю: после моей смерти и кувшин, и блюда, и «монета» должны быть немедленно проданы, а деньги розданы беднейшим ученым Нишапура. Тогда Зло будет обращено в Добро, а честный покупатель будет владеть этими драгоценностями по праву.

Почти год я провел в Нишапуре безвыездно, и постоянно в душе моей росло желание посетить Мерв. Стараясь быть честным с собой, я не могу сказать, что цель этого желания состояла в том, чтобы утолить свой разум учеными беседами, потому что в большей степени мое старое тело стремилось еще и еще раз прикоснуться к юности Гулнор. Анис хитро и понимающе улыбалась, когда я заговаривал с ней о необходимости съездить по ученым делам в эту новую столицу Хорасана. Поистине, трудно скрыть от женщины все, что хоть в малой степени касается ее любви!

И все-таки пришло время, когда я уже больше откладывать свою поездку не мог. Первая неделя в Мерве ушла у меня на изнурительные для моего возраста, но сладкие любовные игры с Гулнор, а когда у меня хватило сил разорвать ее объятия и закрыть перед ней свою дверь, мне потребовалось еще несколько дней, чтобы обрести спокойствие души.

Жизнь же в Мерве, волею Аллаха благословенного и великого, шла своим чередом. От ал-Исфизари я узнал, что все практические дела по Мервской обсерватории Санджар поручил молодому астроному Абд ар-Рахману ал-Хазини, а за ним, за ал-Исфизари, осталось общее научное руководство. Я не мог не признать правильным решение принца: для перевозки из Исфахана астрономических приборов и их обновления и дополнения нужен был молодой и энергичный человек, а ал-Исфизари, хоть и был младше меня, но все же пребывал в том весьма солидном возрасте, когда начинает теряться гибкость мысли и решительность движений. Кроме того, я был достаточно высокого мнения об ал-Хазини. В прошлый приезд я беседовал с ним около десяти раз; мы сверили наши астрономические воззрения, и он признал меня своим учителем. О своем

удовлетворении ходом дел я в мягкой форме сообщил ал-Исфизари, но моя деликатность была излишней, поскольку правильность решения Санджара он понимал и без моих разъяснений.

Когда я появился в собрании местных ученых, там шел шумный спор. Все обсуждали вопрос, возможно ли установление цены золотых или серебряных вещей, осыпанных драгоценными камнями, без извлечения из них этих драгоценных камней. Вмешавшись в этот спор, я заявил, что это вполне возможно и что я уже читал у старых авторов о водяных весах, которые позволяют справиться с этой задачей. После чего я кратко изложил принцип действия таких весов.

На следующий день ко мне пришел ал-Хазини и сказал, что он хотел бы написать книгу и попытаться собрать в ней все идеи, связанные с весами этого типа. Я одобрил его намерение и продиктовал ему более подробно то, что я вчера говорил в собрании, зная, что если он включит записанное в свою книгу, то обязательно укажет, кому принадлежит эта часть текста. Таков был характер этого правильного человека.

К моему удивлению, оказалось, что не только у ал-Хазини возникли идеи, связанные с этими водяными весами. Через два месяца после упомянутого мной собрания принц Санджар пожелал, чтобы мы с ал-Исфизари побывали в Балхе и встретились там с местными учеными, чтобы узнать их нужды и вообще – выяснить, как обстоят дела с наукой и образованием на востоке подчиненного ему Хорасана. И всю дорогу от Мерва до Балха, когда наши верблюды оказывались рядом, ал-Исфизари мешал моему сосредоточению, излагая свои планы реализации идеи водяных весов. Он хотел построить такие весы, ввести их в действие и предложить принцу Санджару использовать их для контроля казначейства и состояния сокровищницы. Я пытался его разубедить, объясняя ему, что задача ученого заканчивается изложением идеи и ее анализом, а практические вопросы жизни в его компетенцию не должны входить. Более того, внушал я ему, практическая реализация ученой идеи таит в себе, как река, подводные камни и является опасной прежде всего для самого ученого, не имеющего, как правило, опыта практической деятельности. Ал-Исфизари только смеялся мне в ответ, восклицая: «Ну, какую опасность может таить такая безобидная вещь, как весы?» Я прекратил этот разговор из-за глухоты собеседника91.

В Балхе мы встретились с каждым из известных здесь ученых поодиночке, но к концу нашего пребывания там, когда о нашей миссии уже узнали все местные мудрецы, из которых никто не

обладал достойным жилищем, где можно было бы провести общую встречу, мы упросили местного правителя – эмира Абу Саада – дать прием нам, как посланникам принца Санджара, с приглашением всей здешней интеллектуальной элиты.

Это веселое собрание состоялось во дворце эмира, расположенном в квартале работорговцев. Когда гостеприимный эмир Абу Саад стал нас расспрашивать о городских переменах в Мерве, ал-Исфизари рассказал о строительстве грандиозного мавзолея, сооружаемого по повелению принца Санджара над могилой достопочтенного Мухаммада ибн Зейда, да пребудут с ним мир и благословение Аллаха. Во время его рассказа я вспоминал свою последнюю прогулку по ближайшему ко мне нишапурскому кладбищу Хайра, а я уже говорил, что люблю посещать эти города мертвых, где тишина и уединение особенно приближают меня ко Всевышнему, я тогда увидел свободное от могил место у стены, сплошь покрытое лепестками отцветающих грушевых и абрикосовых деревьев, расположенных за оградой, ветви которых укрывали этот уголок от жгучего солнечного света так, что даже в самый жаркий день здесь царила прохлада. «Вот здесь и будет покоиться мое тело, когда душу мою призовет к себе Всевышний!» – подумал я и тут же разыскал смотрителя и попросил его оставить это место за мной.

Все эти воспоминания быстро пронеслись передо мной, и я сказал:

– О благородный эмир! Это замечательно, когда так, как в Мерве, люди закрепляют в камне память о достойном человеке через несколько столетий после того, как он покинул этот мир, но я лично не мечтаю о пышных мавзолеях. Я желаю доброй памяти в душах тех, кто будет жить после меня, а не в надписях на камнях и сооружениях, и могила моя будет расположена не на виду у всех, а в тихом уголке простого городского кладбища, и каждую весну северный ветер будет осыпать ее цветами92.

Когда я говорил эти слова, все смолкли, но мне особенно запомнился застывший во внимании совсем еще молодой участник нашего пиршества, и я заметил, как в конце моей речи его взор застлала печаль. «А вот и шахид93, которому, может быть, в будущем предстоит убедиться в серьезности моих намерений»,- подумал я.

Глаза этого юноши стояли передо мной, когда мы возвращались в Мерв.

Я, вероятно, впервые задумался о том, какие они – эти новые поколения, идущие нам на смену. Я знал ал-Хазини и его тридцатилетних коллег и помощников по Мервской обсерватории. Они по своему возрасту были такими, как мои

собратья в Исфахане три с половиной десятилетия назад, но мне казалось, что мы были ярче, умнее, сообразительнее. Я, впрочем, не исключал и того, что это было всего лишь мое старческое брюзжание. В конце концов, все молодые люди во многом похожи друг на друга.

Наш молодой собеседник на пиру у Абу Саада – его звали Низами – был еще лет на десять младше ал-Хазини. Он был красив так, как, наверное, был красив я, когда мне было лет двадцать, как ему сейчас, и я, как он сейчас, поражал своими ресницами сердца мужчин, склонных к запретным наслаждениям. Не скрою, что и сам я исподтишка любовался им, и передо мной снова возник и поплыл над горами и пустыней воспетый мной когда-то образ чаши, которую Господь разрешает наклонять, но запрещает пролить из нее хотя бы каплю содержимого. Сколько таких соблазнов разбросано на жизненном пути человека! И разве вся наша жизнь не есть чаша, которую мы то и дело наклоняем? И еще одна встреча в Балхе порадовала меня до глубины души: на пиршестве у Абу Саада в качестве случайного гостя оказался прибывший из Газни по личным делам поэт Абу-л-Маджд Санайи, чье имя я уже слышал, как слышал и то, что он твердо стоит на Пути. Наша беседа была откровенной, но тихой, поскольку не все из окружающих нас были посвящены. Впрочем, непосвященные в любом случае не разобрались бы в том, о чем мы говорили, ибо язык наш сильно отличался от того, к которому они привыкли. Я увозил с собой его поэму «Книга Разума». Ее название и краткость текста меня привлекали, и я не обманулся в своих ожиданиях.

Из-за своего нежелания преподавать в медресе и из-за отсутствия собственных внуков и малолетних племянников – у Аиши, моей сестры, младшими были только дочери, а ее сыновья уже были взрослыми людьми,- я был лишен общения с детьми, а меня все-таки интересовало, чем они сейчас живут. Поэтому, когда я вернулся в Нишапур и ко мне пришел казначей и сборщик налогов Нишапурского округа ал-Байхаки, чтобы сверить остатки по выплатам моего содержания, я, узнав, что у него есть двенадцатилетний сын, попросил привести его ко мне для беседы и сказал, что мальчику она будет полезна. И в следующий раз он появился с юным Захиром ад-Дином. Я предложил его вниманию один весьма сложный бейт94 Рудаки и остался доволен его толкованием. Потом я спросил его о видах дуг окружности. Он, не задумываясь, назвал четыре вида: окружность, полуокружность, дугу меньше полуокружности и дугу больше полуокружности. В этом ответе не было его личного взгляда, а всего лишь передача слов учителя или заученного по учебнику. Я почувствовал, что интересы этого мальчика будут лежать в области поэзии,

литературы или истории, и перестал его мучить своими вопросами95. В конце концов, любая область знания служит людям, и никто не может заранее сказать, какая из них и когда окажется полезнее другой.

Наш отчет по поездке в Балх был принят принцем Санджаром благосклонно.

Перед вратами вечного молчания

Вот уже третий год я пишу эти заметки, откладываю их и возвращаюсь к ним снова. Мой калам зачерняет белые листы бумаги, а перед моим внутренним взором проходят картины минувшей жизни. Но это хоть и минувшая, но моя жизнь, и мне иногда бывает очень трудно быть искренним и беспристрастным. Но я стараюсь, потому что знаю: есть Высший читатель наших жизней, и от Него не спрячется ничто – ни плохое, ни хорошее.

В минуты душевной слабости меня укрепляют слова мудрого Абу-л-Касима ар-Рагиба, да пребудут с ним мир и милость Аллаха, который в беседах со мной не раз повторял: «Человек пригоден для обоих миров. И сказал Всевышний Аллах об этом: “Разве вы думали, что мы создали вас забавляясь и что вы к нам не будете возвращены”?»96 И еще любил он слова пророка, да благословит его Аллах и да приветствует: «Этот мир – мир бренных; не постоянная обитель, а пристанище бренных. Вы созданы навеки, однако вы скитаетесь от дома к дому, пока не найдете постоянного пристанища».

Сколько раз, когда мой калам запечатлевал рожденные в моей душе стихи, я слышал тихий и ласковый голос Абу-л-Касима за своим плечом.

При приближении к семидесятилетнему барьеру я все чаще испытывал усталость от интенсивного общения с людьми. Нередко глупость собеседников вызывала мое раздражение, и я стал наживать себе врагов. Меня старались подвести под гнев правителей, и единственной причиной этих подлых действий была моя ученая неуязвимость и недоступная большинству эрудиция.

Прошлый мой приезд в Мерв, например, совпал с посещением столицы Хорасана верховным султаном империи Мухаммадом – старшим братом принца Санджара, и, когда царь решил поохотиться в ближайших горах, кто-то услужливо подсказал ему, что только я сумею правильно предсказать пригодные для охоты дни в условиях меняющейся осенней погоды. Султан, находившийся в загородной резиденции, немедленно послал гонцов в Мерв, чтобы разыскать меня. Я в это время был в гостях у ходжи97 Садра ад-Дина Мухаммада ибн-ал-Музаффара – одного из немногих, с кем я еще с удовольствием встречался. Обычно наши встречи происходили в его дворце, где и нашли меня посланцы Мухаммада и доставили меня к великому султану. Я был несколько растерян и попросил два дня на обдумывание проблемы, надеясь, что у султана за это время пройдет желание

поразвлечься убийством бедных зверей.

Однако, увы, эти дни прошли, но ничто не изменилось, если не считать того, что я восстановил душевное равновесие, невозмутимость и твердую веру в Предопределение. Я с важностью предсказал хорошую погоду на ближайшие пять дней и собрался удалиться. Но мои недоброжелатели не успокоились и подговорили султана взять меня в свиту. Правда, тут я нанес им первый ответный удар. Они знали, что я путешествую только на верблюдах, и привели мне довольно резвого коня по прозвищу Дульдуль98 из Санджаровой конюшни, предвкушая удовольствие от зрелища, когда конь станет меня сбрасывать. Однако разучиться ездить нельзя, так же, как и разучиться ходить, и я, как только мои ноги оказались в стременах, сразу же успокоил коня и заставил его двигаться, подчиняясь своей воле. При этом я мысленно поблагодарил благородного Абу Тахира и царевну Туркан, заставивших меня в молодости сесть на коня, и передо мной мелькнуло лицо моей царицы. Я знал, что это ее облик, но сквозь его очертания почему-то светилось лицо Гулнор.

Наш небольшой отряд углубился в горы, и примерно через час погода вдруг испортилась, небо заволокли тучи, и даже пошел снег. Я увидел злорадство в глазах моих недоброжелателей. Поднялся смех, и султан хотел повернуть назад. Я же твердо сказал ему, чтобы он не беспокоился и что вся эта метель продлится не более часа. Отряд осторожно двинулся дальше, а я, отпустив поводья коня, идущего по узкой тропе в цепи всадников и не нуждавшегося в управлении, вознесся душой к вершинам Вселенной и там со всей ранее скрываемой мной страстью, попросил Всевышнего о милости и помощи.

Когда я вернулся к людям, над горами светило солнце, и вокруг не было ни единой тучи. Пять дней, пока охотился султан, не выпадало ни капли влаги, а тучи время от времени собирались за скалами, окружавшими долину охоты. Края облаков только показывались из-за этих скалистых стен, но не могли их преодолеть, как Йаджудж и Маджудж не могли преодолеть плотину Зу-л-Карнайна99, и я так же, как и Зу-л-Карнайн, сказал себе: «Это – по милости от моего Господа!»

Мои завистники с помощью Аллаха великого были посрамлены, и султан Мухаммад приблизил меня к себе, хотя это мне уже не было нужно. Единственная милость, о которой я попросил,- отпустить меня в Нишапур. Но Мухаммад уже и сам собирался отбыть в Исфахан, и поэтому он предложил мне следовать в Нишапур с его отрядом.

Я не отказался, и в дороге рядом со мной был молодой визирь Мухаммада Фахр ал-Мулк – сын Муайида и внук Низама,

да пребудет с ним милость Аллаха. Он был со мной вежлив и почтителен, и, поскольку ученые беседы трудно вести, передвигаясь по горным дорогам, я пообещал ему, что напишу для него специальный трактат на фарси, в котором кратко и точно отвечу на все его вопросы.

Я занялся этим делом сразу же по возвращении в Нишапур и написал труд, названный мною «Трактат о всеобщности существования». Работал я с удовольствием, и оно, мое удовольствие, было отчасти связано с тем, что я мысленно постоянно видел перед собою милое лицо Фахра ал-Мулка и как бы вел с ним беседу. Кроме того, работа над трактатом давала мне возможность изложить на бумаге результаты своих философских раздумий последних лет и переосмысления некоторых положений великого Абу Али, да пребудет с ним милость Аллаха, и, не будь такого стимула, как мое обещание визирю, я так бы и не собрался записать все это.

Кроме того, угодные Всевышнему дела Абу-л-Хамида ал-Газали, да благословит его Аллах, позволили мне в этом трактате впервые открыто и без всяких иносказаний изложить свои мысли о суфийском служении. Душа моя была у престола Всевышнего, когда мой калам выводил эти строки:

«Суфи – это тот, кто не стремится понять Господа путем размышления и обдумывания, но очищает душу от грязи природы и власти тела с помощью морального совершенствования. Когда же необходимый уровень очищения достигается, душа суфи возносится над миром и в ней во всем своем величии проявляются образы Истины. Этот Путь лучше всех прочих, так как мне известно, что нет ничего лучшего для совершенствования души, чем достоинство Господа, и от Него не исходит ни запрещения, ни завесы ни для какого человека. Завесы имеются только в душе у самого человека, и возникают они от грязи природы и от похоти, и, если бы эти завесы исчезли, а запрещения и стены были бы удалены, истинные сущности вещей стали бы известны и человек воспринимал бы их такими, какие они есть. Пророк наш – господин всего бытия, лучшие поклоны и молитвы ему – указал на это своими известными словами: “В дни вашей жизни у вашего Господа есть вдохновения, только вы должны их познать”100».

Я счел своим долгом упомянуть в своем трактате и об исмаилитах: если существует явление, человеку, а тем более – визирю, в стране которого оно действует, следует знать его сущность. Я взял только чистое в этом учении – его представления об ожидании Вести от Господа – и обошел вниманием грязь политики, считая ее преходящей, как преходящи

наши жизни и жизнь недавно покинувшего этот мир моего побратима Хасана Саббаха, да будет милостив Аллах ко всем грехам этого смертного, возомнившего себя властелином жизни и смерти, когда он предстанет перед Ним – истинным и единственным Хозяином нашего бытия.

Просматривая уже законченную рукопись этого трактата, прежде чем отослать ее визирю, я обнаружил, что в ней нет ни слова о перевоплощениях и о переселениях душ. Мне не хотелось обнажать по этому поводу свою веру, и я ограничился тем, что приписал следующую справку: «Учения Гермеса, Агатодемона, Пифагора, Сократа и Платона таковы, что души, находящиеся в телах людей, обладают недостатками и, пребывая в постоянной вибрации, переходят из одного тела в другое до тех пор, пока они не станут совершенными, а когда они становятся совершенными, они теряют связь с телами. Это называется метемпсихозом. Если же души переходят в тела животных, это называется метаморфозой; если они переходят в растения, это называется усыплением; а если они переходят в минералы, это называется окаменением». Перечитав эту справку, я остался доволен: ссылки на греческих авторитетов стали надежной завесой, скрывающей мои собственные мысли по этому поводу.

Отослав трактат, я затворился в Нишапуре, стараясь ограничить свою жизнь домашним кругом и общением с несколькими приятными мне людьми. Даже красивые глаза Гулнор, в которых я видел отражение взгляда моей Туркан, не могли теперь заманить меня в Мерв. Но в год моего семидесятилетия – в 511 году – неожиданно и скоропостижно скончался султан Мухаммад и титул верховного султана всех правителей туркменского сельджукского рода перешел к принцу Санджару. Получив это известие, принц, ставший султаном, объявил, что переезжать в Исфахан он не намерен и что отныне столицей империи становится Мерв.

В Мерве же должна была состояться и его коронация, на которую я совершенно неожиданно для себя получил приглашение. На коронацию съехались все правители, имевшие родственные связи с династией – дети и, в большинстве случаев, внуки того поколения принцев крови, с которыми мне приходилось общаться при дворе Малик-шаха, да пребудет с ним милость Аллаха, и я должен отметить, что они не произвели на меня благоприятного впечатления.

Я старался держаться в тени, понимая, как мало у меня общего с этими людьми, однако избежать столкновения с ними мне все же не удалось. Среди приглашенных в Мерв был правитель Йезда Ала ад-Даула Фарамурз, сын принца крови Али

ибн Фарамурза. Он не понравился мне с первого взгляда – это был тип правителя, у которого хватило ума понять, что политика преходяща, как грязь, которую солнце превращает в камень, вода и время делают этот камень пылью, а ветер развеивает эту пыль по свету. Чтобы как-то удержаться в памяти потомков, правители такого сорта обычно начинают заниматься сочинительством ученых или литературных трудов, не имея к этому никакого дарования. Сочинив же что-нибудь с помощью умных писцов, эти напыщенные ослы полагают, что они осчастливили человечество и уравнялись с великими мудрецами и поэтами. Таков был и этот правитель Йезда. Испортив бумагу записями общеизвестных мыслей, которые он бессовестно приписал себе, и оформив их в виде жалкого трактата о единобожии, он посчитал себя главой ученых, имеющим право суждения обо всем на свете, и на одном из пиров во время коронации он пристал ко мне.

– Что ты можешь сказать в возражение философу Абу-л-Баракату в ответ на его критику слов Абу Али? – высокомерно спросил он меня.

– Абу-л-Баракат просто не понял слов Абу Али, потому что он не достиг уровня развития, необходимого для понимания его слов. Откуда же у него мог появиться дар возражения и право высказывать сомнения по поводу изречений Абу Али? – сказал я, пожав плечами.

Но Ала ад-Даула не унимался.

– А можно ли допустить, чтобы у кого-нибудь проницательность вдруг оказалась сильнее догадки Абу Али, или это абсолютно невероятно? – коварно спросил он.

Я не мог в той обстановке пуститься в рассуждения о случайности, необходимости и вероятности событий, об их причинно-следственных связях, так как это сделало бы мой ответ слишком подробным и сложным для этого легкомысленного собрания, но и солгать я тоже не мог и потому сказал кратко:

– Это в принципе возможно, хоть и маловероятно.

В ответ Ала ад-Даула разразился длинной тирадой:

– Ты сам себе противоречишь. С такой же уверенностью, как ты говоришь об Абу-л-Баракате, что ему недоступна какая-то степень постижения, с такой же уверенностью кто-нибудь, например мой слуга ад-Давати, может сказать, что Абу-л-Баракату доступна эта и даже большая степень постижения. Так скажи, чем в этом случае твои слова будут превосходить слова моего мамлюка и не окажется ли, что мой слуга умнее тебя?

Продолжать дискуссию на таком уровне я, естественно, не мог, и я встал из-за стола и стал прохаживаться по залу за спинами сидящих, давая этим понять, что разговор окончен, хотя

этот зарвавшийся сиятельный подонок что-то там еще пытался высказать по моему адресу.

На следующий день я покинул Мерв, дав себе слово никогда здесь больше не бывать без крайней нужды. После этого я еще получал несколько раз приглашения великого султана Санджара, но всегда вежливо отклонял их, ссылаясь на ослабление своего здоровья, что в значительной мере соответствовало действительности. Лишь один раз, лет через пять после его воцарения, я инкогнито побывал в Мерве, чтобы последний раз взглянуть в глаза Гулнор и отпустить ее на волю. Она, впрочем, осталась с сестрой в нашем домике, охраняя его и не давая ему прийти в запустение.

В этот же год – год последнего посещения Мерва – я прекращаю работу над своими записками. Моя жизнь с этого момента будет идти вне событий. Плоды моих размышлений и философских исследований, если они того будут заслуживать, найдут свое отражение в моем очередном трактате, но, скорее всего, они будут украшать сад моей души и любоваться ими буду я один. Впрочем, не исключено, что я не удержусь и новые четверостишия пополнят мою заветную тетрадь, донеся мое слово к тем, кто придет в этот мир с любовью и надеждой через многие столетия после моего ухода, и они почувствуют на себе мой взгляд и взгляды тех, кого я любил.

В книге, которую румы приписывают господину нашему Сулайману ибн Дауду, да будет милостив Аллах к ним обоим, говорится, что каждому человеку, чья жизнь не будет оборвана случаем, предстоят годы, о которых он скажет: «Я их не хочу!», годы, когда дороги для него наполнятся препятствиями и когда он, прежде легко переходивший горы, малого холмика будет бояться. Я знаю, что если Аллах продлит мою жизнь до естественного предела, то меня тоже будут ожидать такие годы, но я никогда не скажу: «Я их не хочу!», потому что я абсолютно убежден, что любая жизнь – законна и представляет собой бесценный дар нашего Господа нам, грешным и смертным.

Закончены эти записки во славу Всевышнего Аллаха и с Его прекрасной помощью. Благословение и приветствие Аллаха нашему господину и пророку Мухаммаду и его чистому роду.

Послесловие

Омар Хайям сдержал все свои обещания. Оставшиеся ему восемь лет жизни, после того как он закончил свои записки, он прожил в Нишапуре в молчании, ничего не написав и встречаясь только с очень узким кругом людей. И все эти встречи проходили исключительно в его доме.

На улицу он не выходил и гулял только в своем небольшом саду, подолгу сидя над бегущей водой.

Основными его собеседниками были книги и, в первую очередь, сочинения великого Шарафа ал-Мулка Абу Али ал-Хусайна ибн-Абдаллаха Ибн Сины ал-Бухари, с которым он вел нескончаемый разговор и, вероятно, ведет его до сих пор там, где им обоим надлежит пребывать вечно.

Омар Хайям ушел из жизни в пятницу 12 мухаррама 526-го года (4 декабря 1131 г.), прожив 83 солнечных года. О том, как он умер, говорится в его краткой биографии, написанной его современником ал-Байхаки, упомянутым в его мемуарах:

«Имам Мухаммад ал-Багдади, его зять (свояк), рассказал мне, что Омар чистил зубы золотой зубочисткой и просматривал раздел “О божественном”в книге “Китаб аш-Шифа” (“Книга исцеления”) Абу Али Ибн Сины. Когда он дошел до главы “О единственном и множественном”, то заложил между листами зубочистку и изрек: «Позовите чистых, чтобы я составил завещание». Он составил завещание, поднялся, помолился, после чего не ел и не пил. Когда же он совершил последнюю вечернюю молитву, он пал ниц и сказал в поклоне: “Боже! Ты ведаешь о том, что я познал Тебя в меру своих возможностей. Отпусти мои грехи, ибо мое познание Тебя – это мое средство добиться Твоего расположения!” После этого он умолк навсегда».

Исполнил Хайям и то обещание, которое слышал от него в Балхе юноша по имени Низами, когда он говорил о том, где будет расположена его могила. Лет через двадцать пять после этого разговора Низами Арузи ас-Самарканди побывал в Нишапуре и, узнав, что Хайям умер за четыре года до его приезда, захотел поклониться его могиле.

Вот как он сам описывает это: «Когда в пятьсот тридцатом году я был в Нишапуре, уже прошло четыре года, как этот великий человек скрыл свое лицо под покровом праха и оставил этот мир осиротевшим. Он был моим учителем. В пятницу я отправился на его могилу и взял человека, чтобы он показал мне ее. Он привел меня на кладбище Хайра. Я повернул налево и увидел ее у подножия садовой стены, из-за которой виднелись

ветви грушевых и абрикосовых деревьев, осыпавших свои цветы на эту могилу настолько щедро, что она была совершенно скрыта под ними. Тогда я вспомнил те слова, что слышал от него в Балхе, и заплакал».

Однако существует свидетельство историка Табризи о том, что Хайям скончался в деревушке одной из волостей округа Фирузгонд близ Астрабада, но оно не может быть верным, поскольку мусульманин по Шариату должен быть похоронен в день смерти до захода солнца, а доставить тело Хайяма из Астрабада в Нишапур, где находится его могила, в пределах светлого времени одних суток просто невозможно.

* * *

Было время – о, наверное, было это целую жизнь тому назад,- каждой весной бежал я по утрам на плоскую крышу, и предо мной до дальних снежных гор открывалась одна из волшебных долин Мавераннахра.

И всякий раз внимание мое привлекал один малый уголок на ближнем плане этой великолепной панорамы – в двух-трех часах быстрой ходьбы от моего дома. Он постоянно, даже в самое яркое утро, был в какой-то прозрачной дымке, и над укрытыми этой дымкой густыми зелеными кронами иногда можно было заметить дрожание воздуха, как над открытым раскаленным песком или камнями. Мне очень хотелось побывать там, но всякий раз что-нибудь мне да мешало. И наконец пришел день, когда я решил, что откладывать дальше – некуда.

Часа через два с небольшим я подошел к неизвестному мне селению. Обогнув небольшой чистый пруд на его окраине, я ступил на безлюдную улицу. Приближался полдень. Я увидел красивую резную калитку в глухой высокой глиняной ограде. Калитка была чуть приоткрыта, и я, осторожно толкнув ее, вошел внутрь. Передо мной открылся аккуратный внутренний дворик, большей частью укрытый виноградником, пронизанным солнечными лучами. А сам дом с верандой – айваном – и остальная часть дворика находились в густой тени мощных садовых шелковиц. Тихо журчал ручей, и я с удивлением заметил, что вода в нем прозрачна, будто этот ручей не входил в здешнюю оросительную систему с ее мутными быстрыми потоками.

Между виноградником и тенистой частью дворика росло несколько розовых кустов. Две розы, раскрывшиеся навстречу весеннему дню, манили меня своей красотой. Маленькая серая птичка раскачивалась над ними на тонкой и гибкой ветке, пытаясь начать свою песню.

«Розы Нишапура»,- услышал я чей-то голос.

Мне показалось, что на веранде мелькнули узорчатый халат и зеленая чалма. Я подошел к дому и заглянул в его прохладную полутьму. Там никого не было, и я вернулся к розам, чтобы еще раз вдохнуть их аромат.

Вдруг пошел теплый и мягкий снег: это легкий порыв северного ветра окутал меня облаком белых лепестков, осыпавшихся с грушевых и абрикосовых деревьев. Они тоже росли здесь, у самой ограды. И я… испугался. Ведь это совсем другое время. Или, может быть, время остановилось?

Но вот за высокой оградой на улице заскрипела повозка,

послышался окрик арбачи, и мне захотелось туда, обратно, в мой мир, в мой дом, где меня ждут,- хватит испытывать судьбу… И я вернулся, и уже смеялся над своей минутной слабостью: какой же это дом Хайяма? Просто обжитая современная усадьба, откуда ненадолго, по каким-то срочным делам, отлучились ее обитатели.

Я был уверен в своей ошибке, но словно качнулась земля под ногами, когда моя подруга, любовь моя, узнав о моих странствиях, сказала:

– Абрикос и груша никогда не цветут вместе. Аллах установил им разные сроки.

Вскоре я снова очутился в этом селении, потом приходил сюда еще несколько раз, да так и не нашел красивой резной калитки в глухой высокой глиняной ограде. Другие калитки и ворота попадались мне, но той, едва приоткрытой, как будто и не было никогда.

* * *

Хайям умер, и на небосводе человеческого духа уже почти тысячу лет сияет его звезда. За минувшие столетия много новых звезд зажглось на этом небосводе, но свет звезды Хайяма, манящий и таинственный, не тускнеет, а, наоборот, делается ярче.

Комментарии

1 Фатиха – «открывающая» – глава, открывающая книгу, по аналогии с 1-й сурой Корана.

2 Разделение текста мемуаров на главы по хронологическому и смысловому принципам произведено автором.

3 По мусульманскому летосчислению.

4 Коран, сура 95, аяты 1 и 3.

5 Хадис – восходящее к пророку Мухаммаду предание о его словах и делах.

6 Коран, сура 51, аяты 24-28.

7 Коран, сура 51, из аятов 29 и 30.

8 Уравнение, которое мгновенно решил восьмилетний Хайям, в современной форме можно записать так: x2-ax+1 = 0. Хайям мысленно преобразовал его к виду: ; а потом представил себе число «а» как сумму чисел: , и это дало ему возможность сразу, не обращаясь к формулам, назвать корни такого квадратного уравнения: , равные x1 = b и . Подобное раннее проявление гениальности и способности к математическому прозрению имело место и в детские годы «короля математиков» К.-Ф. Гаусса, мгновенно и без вычислений назвавшего сумму чисел от 1 до 20.

9 Одна из главных школ суфизма, основывающаяся на учении мистика-рационалиста Абу-л-Касима ал-Джунайда.

10 Хайям имеет в виду знаменитое стихотворение Абу Абдалло Рудаки о золотой Бухаре и садах Мульяна.

11 Аполлоний Пергский (260-170 гг. до н. э.) – древнегреческий математик.

12 «Почетной одеждой» Хайям, следуя традиции, называет одежду, подаренную хаканом.

13 Йусуф – коранический пророк, прототипом которого является библейский Иосиф Прекрасный.

14 Йезид – Творец.

15 Фикх – мусульманское право.

16 Философия обоих миров – мусульманская и западная, в данном случае – античная, философия.

17 Каландары – бродячие суфийские философы, позднее объединившиеся в братство «Каландарийа».

18 Коран, сура 2. Хайям пересказывает раннюю редакцию 216-го аята.

19 Коран, сура 4.

20 Джанна – райский сад.

21 Коран, сура 47.

22 Фанаруз – селение близ Самарканда, славившееся вином высокого качества.

23 Маги – зороастрийцы, последователи доисламской религии Ирана.

24 Хумайун – Гамаюн, сказочная птица Феникс.

25 Цари Сулайман, Дауд – пророки Аллаха; джинны – гении, подчиненные Аллахом царю Сулайману, обладавшему волшебным перстнем.

26 Рум – Византия.

27 Учителем Хайям называл Абу Али Ибн Сину.

28 Одно из высказываний (хадисов) пророка Мухаммада.

29 Также одно из высказываний пророка Мухаммада.

30 Фердж – интимное место женщины; буквально – «щелка».

31 Туран – у иранцев местность севернее гор Копет-дага.

32 По легенде, Аллах подчинил мудрому царю Сулайману птиц, зверей и ветры.

33 Маснави – двустишие.

34 Абу Саид Майхана – один из великих суфийских учителей, шейх; однако исследователи склоняются к мысли, что существующие под его именем четверостишия ему приписаны, а сам он стихов не писал.

35 Мавераннахр – Междуречье, земли между Амударьей и Сырдарьей.

36 Диван – собрание; в данном случае – государственный совет.

37 Мазендеран – область Ирана, расположенная вдоль юго-восточного побережья Каспия, где находился городок Астрабад.

38 Определенная часть иудейской Священной истории рассматривается мусульманами как предыстория ислама с признанием отдельных иудейских патриархов и пророков – пророками Аллаха.

39 Зу-л-Карнайн – Александр Македонский.

40 465-й год Хиджры – 1072-й год по христианскому летоисчислению.

41 Стоянка – суфийский мистический термин, характеризующий уровень сосредоточенности (медитации). Иногда вместо термина «стоянка» применяется термин «долина».

42 Хаджи – человек, совершивший паломничество в Мекку.

43 Фатиха – первая и одна из малых кратких сур Корана, состоящая из семи стихов.

44 Аят – стих Корана; сура – глава Корана.

45 Коран, сура 2, аят 190.

46 Предчувствия Хайяма оправдались: несколько поколений террористов-смертников, одурманенных гашишем, наводили ужас на страны мусульманского Востока, но в конце концов они все были уничтожены войсками Чингисхана, а крепость «Орлиное гнездо» («Аламут») была разрушена.

47 Бандж – снадобье, изготавливаемое из индийской конопли, разновидность гашиша.

48 Хайям цитирует один из хадисов.

49 Изар – кусок ткани (шелк, полотно), в которую заворачивались женщины, выходя на улицу.

50 Джаханнам – ад, геенна.

51 Путь (тарика) – мистическое приближение суфия к Истине.

52 Макам (буквально: «стоянка») – остановка суфия на мистическом Пути для подготовки к следующему этапу восхождения. Во времена Хайяма таких стоянок в суфийской практике было семь. Пятая означала терпение и предшествовала удовлетворенности.

53 Прообразами упоминаемого в Коране пророка Закарийи в коранической традиции являются и христианский праведник Захария – отец Иоанна Крестителя, и иудейский пророк Захария.

54 Дувал – сплошной глинобитный или саманный забор в Мавераннахре и Хорасане.

55 «Бисмил» – известный в Мавераннахре и Хорасане «танец умирающей птицы», названный по первому слову ритуальной формулы, произносимой при лишении жизни курицы, предназначенной для трапезы.

56 Абу Бакр ас-Шибли – знаменитый багдадский суфий, живший за сто пятьдесят лет до Хайяма.

57 Фикх – мусульманское правоведение.

58 «Домом Афрасийаба», царя Турана, героя «Шах-наме» великого Фирдоуси, именовала себя тюркская династия, вошедшая в историю под названием «Караханиды».

59 Хадисы – поучительные истории из жизни пророка Мухаммада, являющиеся наряду с Кораном основой исламского мировоззрения.

60 Махмуд – великий каган Мавераннахра из династии Караханидов.

61 Джейхун – арабское наименование Амударьи, которое иногда употреблял в своих «Записках» Хайям.

62 Факих – мусульманский законовед.

63 Зурна – духовой музыкальный инструмент, труба с боковыми отверстиями.

64 Ал-Халладж – великий суфи, казненный в 922 г. в Багдаде по приговору исламского суда, несмотря на заступничество авторитетов-факихов.

65 Прообразом пророка Йунуса был библейский пророк Иона, которого матросы выбросили в море, чтобы успокоить бурю, грозившую гибелью их кораблю.

66 Зу-л-хиджж – месяц паломничества по мусульманскому (лунному) календарю.

67 Абу Йазид (Байязид) Бистами – шейх, великий суфи из г. Бистама в Иране.

68 Рабийа ал-Адавийа – знаменитая подвижница, основательница басрийской школы суфи, экстрасенс.

69 Хинд – река Инд, разделявшая миры ислама и индуизма.

70 Хайям пересказывает одну из формул Махабхараты.

71 Ал-Худживири последние годы жил в Лахоре и там написал свою знаменитую суфийскую книгу «Раскрытие скрытого за Завесой».

72 Город Пророка – Медина.

73 Долина Арафат.

74 Набид – вино из фиников.

75 Абу Хамид ал-Газали действительно вернулся в багдадскую Низамийе, но это произошло через пять лет после пребывания Хайяма в Багдаде, т. е. в 498 г. К этому времени ал-Газали уже был признанным главой исламских богословов.

76 Нисба – приставка к имени, указывающая на место рождения или место особенно известной деятельности человека.

77 Хайям не ошибся, и Хамадани действительно ожидала мученическая смерть: в 525 г. он был распят в родном городе, но Хайям, умерший в начале 526 г. не узнал об этом.

78 Зеленую чалму имел право носить хаджи – мусульманин, совершивший паломничество.

79 Надим – сотрапезник царя или правителя.

80 Диван – государственное собрание.

81 Фетва – заключение о богоугодности какого-либо сочинения или проповеди; может быть охранительной или отвергающей.

82 Айван – открытая галерея перед домом в Мавераннахре и Хорасане, где живут в жаркое время.

83 Рабад – пригород.

84 В Мавераннахре и в той части Хорасана, где зима бывает суровой, такие очаги (иногда их называют «сандалы») используют

для подогрева ног, так как дома там не отапливаются.

85 Халь-халь – ножной браслет.

86 Гулнор, Гулнар, Гулнара, Гюльнор, Гюльнара – «цветок граната». Гулсара, Гюльсара – «лучший цветок» или «лучшая роза».

87 Аиша – после Хадиджи самая любимая жена пророка Мухаммада, дочь его сподвижника Абу Бакра. Дальше Хайям пересказывает известный хадис.

88 В практике интимной близости в Мавераннахре и Хорасане не было принято «торопить миг последних содроганий».

89 Нисба – почтительная приставка к имени выдающегося человека, отражающая чаще всего место рождения; в данном случае ал-Газзали, или ал-Газали, означает «из Газзали». Нисба самого Хайяма была «ал-Найсабури» – «из Нишапура».

90 Фарсах – мера расстояния, имевшая в разных местностях разное значение. Обычно – 6-7 км.

91 Здесь еще раз проявилась удивительная способность Хайяма предвидеть отдаленные последствия различных явлений и конкретных человеческих поступков: ал-Исфизари не оценил его предупреждений и все-таки построил весы, уже когда принц Санджар в 511 г. стал великим султаном. Ал-Исфизари, демонстрируя весы, говорил всем, что он собирается предложить султану проверить с их помощью казначейство. Главный казначей, узнав об этом, поручил своим слугам тайно уничтожить весы, и те разбили их на мелкие кусочки, а ал-Исфизари от этой вести заболел и вскоре умер.

92 Даже Хайям не мог предвидеть, что через 800 лет после его ухода на его могиле, на средства его почитателей, собранные во всем мире, по проекту иранского архитектора Х. Сейхуна будет воздвигнут обелиск, в котором параллельные линии пересекутся.

93 Арабское слово «шахид» – «мученик за веру» – имеет и второе значение – «свидетель», в котором и употребил его Хайям. В этом случае ударение переносится на первый слог.

94 Бейт – двустишие.

95 Захир ад-Дин ал-Байхаки стал единственным биографом Хайяма, знавшим его при жизни.

96 Коран, сура 23, аят 117.

97 Ходжа – господин, уважаемый человек. В данном случае, возможно, человек, стоящий на суфийском Пути «хваджаган», близком по своей сущности суфийским взглядам Хайяма.

98 Дульдуль – кличка коня четвертого праведного халифа Али, подаренного ему пророком Мухаммадом.

99 Зу-л-Карнайн, предположительно Александр Македонский, построил плотину, которая защитила людей, живших на земле

восхода Солнца, от враждебных им существ Йаджуджа и Маджуджа (библейских Гога и Магога), распространявших нечестие на Земле (Коран, сура 18, аяты 90-98).

100 Хайям пересказывает один из известных хадисов Мухаммада.